

Валерий Бочков

ЛАТГАЛЬСКИЙ КРЕСТ¹

Латгалия сверху похожа на лоскутный ковер. Такой ее видят ласточки и стрижи в звонкие летние дни: в зеленые клеверные луга и оливковые поля люцерны вшиты строгие квадраты хуторских наделов, в малахите сосновых лесов сияют цыганской парчой заплатки озер, ясной лентой петляет с востока на запад изумрудная Даугава.

Если мне когда-нибудь удастся стать старым, то я вернусь сюда. Вернусь без карты, без компаса — буду спать на берегу озера или ручья, а утром, взобравшись на ближайший холм и оглядев округу, буду решать, какая из далей манит меня сегодня.

От солнца моя кожа станет медной, а волосы выгорят в белое. Небо будет синим, луга бескрайними, леса дремучими. В полях, где сейчас спеет рожь, я буду собирать ржавые гильзы и белые кости. Свои находки буду бережно складывать в старое солдатское одеяло, серое, из грубой шерсти. То самое, с трафаретной надписью «Из санчасти не выносить».

1

Я запросто мог появиться на свет в военном городке под Херсоном — там заканчивал летное училище мой отец, там он познакомился с мамой. Или в пряничном городке Ютербог, куда отец был направлен служить после училища. Кстати, именно там, на прусском востоке Германии, родился мой брат.

Спустя триста девяносто девять дней родился я. Во многом благодаря беспечности родителей и стечению обстоятельств. Неблагоприятных обстоятельств — так, по крайней мере, считает он, мой брат. Сам я об этом стараюсь не думать, но определенная логика в его точке зрения есть безусловно.

Могу вообразить с какой неохотой родители оставляли этот Ютер-

¹Роман полностью выйдет в издательстве «ЭКСМО» в 2019 г.

бог: на фотографиях цветущие вишни, из белой пены выглядывают черепичные крыши, дальше — горбатый мост из дикого камня (кавалькада рыцарей с пышными плюмажами на стальных шлемах вот-вот должна появиться), внизу прыткая речка, за мостом, на взгорье двуглавый готический собор втыкает шпили в безмятежное небо. Строгий прусский минимализм — почти Кранах. Фото черно-белое, но даже без цвета видно, как они были счастливы тогда: мать — тихая улыбка одними глазами, бледное узкое лицо, воздушное платье, имитирующее клочок облака, — она запросто могла сойти за ангела, если бы не кулек в руках. В кульке — брат. Его не видно, но всем известно, что он там. Рядом отец — гордый и чуть растерянный, как и полагается молодому папаше. Четкий профиль, подбородок, тугой зачес назад, сигарета — все в соответствии с эпохой. Сколько ему тут? — думаю, и двадцати пяти нет. На отце форма с новенькими погонами, ему только что присвоили старшего лейтенанта. До моего рождения остается триста двадцать семь дней. Подсчитать несложно — на обороте фото есть дата. Написана она курсивом, с нажимом, фиолетовыми чернилами. Отец был изрядный каллиграф (природный дар, неутомимой практикой доведенный до идеала), папаша не смог удержаться и ниже дописал: «Семейство Краевских в полном составе». И в этой фразе есть свой скрытый смысл.

Отец хотел быть актером, а стал военным летчиком. В пятнадцать лет он убежал из дома с какой-то вполне зрелой артисткой из Московского театра оперетты. Его поймали в Харькове — труппа с триумфом гастролировала по Украине, москвичи показывали украинцам «Летучую мышь», — и вернули в столицу. Домой, в семью. Отец отца, соответственно, мой дед, суровый старик с деревянной ногой, — протез поскрипывал при ходьбе, тонко, будто весело посвистывал, — не выносил неповиновения и считал дисциплину главным достижением человеческой цивилизации. Ному деду оторвало в Померании, буквально за четыре месяца до конца войны, когда в составе Первого Белорусского фронта он вел на штурм города Линде свою стрелковую дивизию. Его наградили звездой Героя и отправили в отставку в чине генерал-лейтенанта. Я ни разу не слышал его смеха. Раз в год, в мае, дед надевал парадный мундир со стоячим воротником, ватными плечами и широкой грудью, увешанной орденами в четыре ряда. Золотая звезда висела особняком — высоко, почти у ключицы. Погоны с двумя выпуклыми звездами были шиты золотой ниткой, сверкающей, как

искры бенгальского огня. Мне страшно хотелось потрогать погоны, но я бы скорей умер, чем решился на это. Стоячий воротник с малиновым кантом тоже был вышит золотом. Мне тогда казалось, что мундир деда — одна из самых красивых вещей на свете.

Последний раз я видел парадный мундир на Новодевичьем кладбище. Был теплый октябрь, конец бабьего лета. Пахло желтыми листьями и московской пылью, теплой, с горьковатым привкусом копоти. Дедову звезду Героя несли на красной подушке, за ней следовали подушки с другими орденами, не такими важными. Кorteж замыкал гроб. Его поставили на черный подиум, накрыли крышкой и зачем-то крепко заколотили гвоздями. Звякнули ружейные затворы, солдаты дали залп, потом еще один, и еще. Потянуло кислым дымом, как от новогодних хлопушек. Через три дня мы вернулись домой, в Кройцбург.

В переводе с немецкого это значит крест-город. Или город креста. В тринадцатом веке, а именно в 1237-м году, его основали крестоносцы. Немцы, вот ведь педантичный народ, выбили название города и дату основания на каменной колонне, что и сейчас стоит на Рыночной площади. У нас есть замок, окруженный крепостной стеной, часовня с подземным ходом, лютеранский костел, древнее кладбище с каменными крестами — все, как полагается. Одно время в Кройцбурге располагалась резиденция Рижского епископа. Город переходил из рук в руки, после крестоносцев тут хозяйничали шведы, потом поляки. В середине шестнадцатого века Кройцбург заняли войска Ивана Грозного. А через двести лет в нашем замке, завершая триумфальную Польскую кампанию, останавливался полководец Суворов.

Сейчас в замке Дом офицеров — бильярдная, буфет, кинозал и библиотека. В комнате, где спал генералиссимус Суворов, теперь сидит майор Ершов, директор клуба, громкий и широкий коротышка с бабьим румянцем во всю щеку. Его жена — Ершиха, воображает себя светской дамой, скорее всего, француженкой, поскольку от природы картавит. По праздникам она натягивает на себя змеиное платье с глубоким вырезом — декольте, из которого пытаются выскочить ее огромные, как пляжные мячи, сиськи. Искристая чешуя платья делает Ершиху похожей на жирную саламандру. Я их никогда не видел — саламандр, но мне почему-то кажется, что они выглядят именно так.

В бильярдной четыре стола с зеленым сукном, высокий потолок защит мореным дубом. Древесина почти черная, дубовые доски выдерживают под водой несколько лет — морят. Слово это мне напоминает

Таню Мореву, я был в нее влюблен во втором классе. Потолок кажется низким, наверное, из-за того, что темный, на самом деле бильярдный зал высотой метра четыре. Дубовые панели и на стенах. На каждой стене по картине — огромные полотна в музейных бронзовых рамах, написанные местным художником-копиистом: «Василий Теркин. Солдаты на привале», «Подвиг Николая Гастелло», «Александр Матросов закрывает грудью амбразуру фашистского дота» и, разумеется, «Переход Суворова через Альпы».

Я люблю разглядывать картины, я и сам неплохо рисую — но не с натуры, а по воображению. Суворов на картине похож на ехидную старушонку, brave гренадеры усаты и краснощеки. А вот фашист-пулеметчик напоминает Мефистофеля, нос крючком и злые глаза, — его хищные пули веером прошивают грудь советского героя. Лицо Матросова как из камня — такого пулями не возьмешь.

Самолет Гастелло получился на пять: заклепки на фюзеляже выпуклые, железные. Будто их действительно вбили в холст для пушечного реализма. Но больше всего меня восхищает Теркин, даже не он сам, а то, с каким мастерством художник нарисовал папиросу в руке солдата: рыжий огонек так и горит — обжечься можно.

В бильярдной стоит густой мужской дух. Военный дух. Пахнет сапужной ваксой, одеколоном и табаком. Старый паркет скрипит под офицерскими каблуками, с треском сшибаются тяжелые шары — на их желтоватых боках выгравированы цифры, шары эти выточены из настоящих слоновьих бивней. Летчики немногословны, как и положено настоящим летчикам. Тем более, военным.

«Пятый — дуплетом от борта в центр» или «Седьмой — в правый дальний» — эти слова звучат как тайные заклинания. Мой отец тоже играет: закусив сигарету, он щурится от дыма — душистые сигареты с золотым ободком присылает из Москвы моя бабка. Отец красив, он действительно мог бы стать актером. Он эффектно нависает над зеленым столом, правая рука на отлете. Его ладное тело упруго, он подобен натянутому луку: рука — тетива, кий — стрела. Луза — цель.

— Восьмерка — триплет в левый угол, — объявляет он.

— Триплет? — шелестит шепот, зеваки окружают стол. Они сосредоточенно курят.

Удар хлесткий и сильный, он звонок, как пистолетный выстрел. Шар, крутясь, несется к борту, от него к другому.

— Флюк! — говорит кто-то.

— Эффе...

Шар подкатывается к угловой луже, замирает на краю, но все-таки соскальзывает вниз.

— Флюк... — повторяет тот же голос.

Отец усмехается, не отвечает. Со вкусом затягивается и выпускает дым тонкой струей вверх, в темные дубовые панели. Зрители одобрительно бубнят.

Наступает моя очередь — я подлетаю к столу, выуживаю холодный увесистый шар из сетки и ставлю на полку отца. Шаров у нас уже четыре. На один больше, чем у чернобрового капитана со страшной фамилией Черепов. Отец никогда ему не проигрывал. Хотя капитан Черепов тоже играет мастерски.

2

Тем летом я едва не утонул. Такая формулировка «едва не утонул» осталась в моей памяти — на самом деле меня чуть не утопил мой брат. Ему уже исполнилось пятнадцать, я все еще застрял на четырнадцати.

Был полдень, конец июня, стояла жара. День начался с утра, чистого и пронзительного, как витражное стекло. Мы, человек шесть пацанов, ныряли с понтона. Эти понтоны еще в войну использовали для наведения мостов — выстраивали цепочкой от берега до берега, сверху крепили доски и готово — хоть танки пускай. Похожий на циклопическую консервную банку — вроде как для сардин (если б сардины вымахали с акулу), он стоял метрах в двадцати от берега, этот понтон. Если поднырнуть под его брюхо, то в темно-янтарной толще можно было разглядеть ржавую якорную цепь, а на самом дне огромный бетонный блок с железной скобой, к которой и прикована цепь. Пару раз во время ледохода понтон отрывался, однажды его утащило до самых порогов, что за Еврейским кладбищем, но каждым летом он чудесным манером возвращался на свое место.

Искусство ныряния с понтона состоит из двух важнейших компонентов — скорость разбега и высота подскока. Разбегаться нужно по диагонали, так длинней — получается ровно восемь шагов. Восьмой шаг приходится на самый край понтона. Беги, будто за тобой гонится черт с вилами. Отталкивайся обеими ногами и изо всех сил, так, точно пытаешься допрыгнуть до солнца. Еще: крайне важно уловить

ритм — понтон качается, — и в момент подскока борт, с которого ты прыгаешь, должен идти вверх.

Закрутить сальто в воздухе считалось особым шиком. Мой брат не просто крутил сальто, он умудрялся войти в воду рыбкой — без брызг. Изящно, как лезвие ножа. Мои сальто напоминали кувырки, и я непременно плюхался в воду лицом. Или брюхом.

Но в тот раз мне удалось сделать настоящий кульбит. Да, я успел выпрямиться, вытянуть руки и войти в воду без всплеска. Сквозь двухметровую толщу воды до меня понеслись восторженные крики с понтона.

— Коронно!

— Зашибец!

— Высший пилотаж!

Одним мощным гребком я вырвался из глубины на поверхность. Доплыл, в два приема подтянулся и выскочил на понтон — сбоку к борту была припаяна лесенка, но это для мелюзги.

— Ну, ты дал, Чиж! — Женечка Воронцов, румяный с белыми девичьими ресницами, восторженно шлепнул меня ладошкой по мокрой спине. — Сальто-мортале в чистом виде!

— Пять с плюсом! — Арахис ткнул мне кулаком под ребра, повернулся к моему брату. — Сделали тебя, Валет! Как ребенка сделали.

Тот хмыкнул.

— Случайность, — брат презрительно сплюнул в воду. — Показываю, как надо!

Все расступились, освобождая место для разбега. Валет, загорелый и мосластый, как породистый жеребец, он лениво дошел до края понтона, повернулся. Ухмыляясь, оглядел всех, всех по очереди. Всех, кроме меня, — по моему лицу скользнул как по пустому месту. Замер, подался вперед, по-бычьему наклонив голову. На лбу проступила вертикальная жила, такая же, как у отца. С берега долетел обрывок песни, пели что-то народное, хором, там, на берегу, слушали транзистор.

Валет сорвался с места. Пятки застучали в железо точно тревожная дробь цирковых барабанов. Пустое нутро понтона ответило гулким эхом. Подлетев к самому краю, брат оттолкнулся от бортика и взмыл вверх. На миг его мускулистое тело застыло в воздухе — бронза на синем, — тут я понял, что вот сейчас Валет попытается сделать двойное сальто, за моей спиной Арахис восторженно выругался матом — и он был прав: картина была божественной.

Первый кульбит вышел безукоризненно, брат скрутился в узел — спина колесом, подбородок в колени, — комок мускулов, сгусток энергии. Раньше двойное сальто не удавалось сделать никому из наших. Не удалось и Валету. На втором кувырке он врезался в воду, врезался лицом, подняв фонтан брызг.

— Жаба! — захохотал Сероглазов, жилистый и смазливый парень; его отца-майора три месяца назад перевели к нам из Германии, мамаша разгуливала фифой по гарнизону в красной шляпе с вуалью, а сам Сероглазов щеголял перед нами непромокаемыми часами с черным циферблатом и фосфорными стрелками, которые горели ночью зеленоватым светом. Утверждал, что в этих часах можно нырять на глубину сто метров.

— Валет жабу ляпнул! — изумленно выдохнул Арахис мне в затылок. — Чемпиону кирдык...

Брат вынырнул. Подплыв, он подтянулся, пружинисто выскочил на понтон. Лоб и правая щека горели румянцем, как ожог.

— Не ушибся? — Сероглазов отступил назад, ласково ухмыляясь. Брат зло посмотрел ему в лицо, не ответил.

— Однако, жаба. — Серый скрестил руки на груди, невзначай выставив свои часы. — Чемпионский титул аннулируется.

— Я вне зачета прыгал. — Брат обеими руками зачесал назад мокрые волосы, туго, как отец. — Сечешь? Жаба не считается.

— Жаба есть жаба. — Сероглазов сделал еще шаг назад. — Сам знаешь. Верно, мужики?

Все молчали. Жаба есть жаба — тут Серый был прав, но и связываться с Валетом никто не хотел. Брат хмуро оглядел нас, я видел, как он сжал кулаки, как надулась жила на лбу. У меня инстинктивно перехватило горло, я-то знал, к чему шло дело.

— Жаба... — поворотил Сероглазов.

Брат медленно пошел на него. Все расступились. Железо понтона раскалилось, как сковородка. На берегу, перекрикивая радио, зарыдал младенец. На ватных ногах я отошел к краю — сейчас я был в безопасности, но по привычке меня начало мутить. Сероглазов продолжал ухмыляться, он явно не подозревал, чем это может кончиться.

Не знаю, может, я действительно с придурью, как считает бабушка, — я подслушал их разговор на кухне с моим отцом, когда мы навещали старуху в зимние каникулы, — но меня отчего-то охватывает дикий стыд за других людей, когда те говорят глупости или делают гадости.

Даже когда это вытворяют совершенно посторонние люди — не знаю. В такие моменты, чтобы остановить позорище и отвлечь внимание, я могу громко запеть или захохотать. Или выкинуть еще какой-нибудь фортель — вот, тоже бабкино словцо.

В драке брат зверел, зверел моментально. В стене нашей комнаты есть вмятина от гантели на уровне глаз, Валет метил в висок. В семь лет мне пришивали ухо — одиннадцать швов, — брат почти вчистую откусил его. Выбитый коренной зуб и шрам на затылке от кастрюли — это все, не считая бесчисленных синяков и царапин, — отметины его братской любви. В драке Валет не просто дрался, он пытался тебя убить. Его побаивался даже Арахис, квадратный детина, с внешностью мексиканского разбойника.

— Жаба? — тихо спросил брат, глядя исподлобья на Сероглазова.

Тот, пятясь, остановился на краю понтона. Лениво потянулся, поправил бронзовую пряжку на своих немецких плавках — яркие радужные полоски, а сбоку кармашек с бронзовой застежкой в виде акулы.

— Ага, — ответил, улыбаясь. — Жаба.

Дальнейшее произошло мгновенно и почти синхронно.

Я не выдержал и крикнул: «Кончай, Валет!» Он даже не оглянулся. В тот же самый момент коротким бычьим ударом головой боднул Сероглазова в грудь. Грудная клетка ухнула гулко, как барабан. Серый, удивленно раскинув руки, полетел за борт. Его тело еще не коснулось воды, а брат уже подскочил ко мне. Кулака я не увидел — боль пронзила череп от подбородка до затылка. Мощный апперкот — Валет каждое утро дубасил боксерскую грушу в нашем гараже, — в голове взорвалась вселенная и тут же рассыпалась белыми искрами.

Понтон и река подпрыгнули — точно я взлетел на качелях. Босые ноги мелькнули на фоне белых облаков и невинной июльской синевы. Испугаться толком я не успел, не ощутил и удара о воду, должно быть на мгновение даже потерял сознание — классический нокаут. Верх и низ перепутались, я стал почти невесом. В голове стоял звон, как от мелких серебряных бубенцов. Почему не колокольчиков? — не знаю, не знаю — бубенцов. Тягучая янтарная толща, расчерченная острыми лучами, потащила меня куда-то вбок. Течение, с упорством пьяного, влекло меня на глубину, на середину реки.

Безмолвие и покой — не так уж оказалось все страшно. Раньше иногда я пытался представить свою смерть — от пули, кинжала, прямого удара шпаги в сердце: невыносимая боль, парализующий ужас,

накрывающая с головой тьма — воображение рисовало куда более жуткие картины, чем эта. Я тонул, а значит, умирал. И смерть эта была мирной, почти нежной.

Зеленые ростки водорослей вытянулись вдоль дна, течение играло ими, как лентами на ленивом ветру. Илистое дно казалось затянутым в коричневый бархат. Мордатый сом, заметив меня, чванливо посторонился, но не уплыл, остался наблюдать. Притаился за корягой, вот дурак — думает, его не видно.

Я запросто могу сидеть под водой почти две минуты, ладно — полторы уж точно. Дольше Арахиса и Гуся, не говоря уже про Женечку Воронцова. Даже дольше Валета, хотя брат, зная это, со мной не тягается. Он соревнуется, лишь когда уверен в победе на все сто.

Течение тянуло меня. Я стал частью реки. Плыл над самым дном, нежные водоросли касались груди и ног. Выставил вперед руки — на глубине они казались бледными, точно были выточены из слоновой кости, вроде бильiardных шаров. Потом перевернулся, надо мной сквозь янтарную толщу проглядывало небо — солнце и облака, иногда мелькала тень птицы. У нас на Даугаве много речных чаек — клуш, они мельче морских, но такие же крикливые и скандальные. Понтон остался позади, темным пятном он чернел среди желто-зеленых бликов и солнечных зайчиков.

Злорадная горечь — всхлип пополам с усмешкой, когда не знаешь, разразишься хохотом или зальешься слезами, — наполнила меня: там, на понтоне, Валет наверняка уже начал нервничать. Я представил, как он придет домой. Что будет говорить отцу и матери. Как будет врать. От жалости к себе я чуть не заплакал.

Воздух кончался. За эти десять секунд воображение успело нарисовать похороны — вышло горестно и уныло до зубной боли: я добавил серый дождик, жирную глину — мерзко коричневую, липнущую пудами к ботинкам. Фальшивые венки из крашеной бумаги раскисли, ленты потекли — «любимому сыну и брату», — теперь вранье едва можно было прочитать на черных тряпках. Добавил звук — не оркестр, пять доходяг с мятыми дудками и один с аккордеоном. Никаких барабанов, большой барабан действительно трагичен, только визг и стон. Мне нужен фарс.

Даугава — река серьезная, широкая и быстрая. Меня вынесло на стремнину, надо мной серебрилась звонкая рябь. Лежа на спине, я плавно пошел к поверхности. Не вынырнул — всплыл, лишь вы-

ставил лицо. Понтон остался позади, метрах в пятидесяти. Вопреки ожиданиям, никто не всматривался в воду, никто не нырял в отчаянных попытках найти утопленника, никто не кричал и не звал на помощь. Они что-то обсуждали, стояли вокруг Валета и о чем-то говорили. Спокойно, обычно. Ни жестов горя, ни паники — ничего. Компания пацанов на реке под летним небом.

Пять раз глубоко вдохнув и выдохнув, я восстановил дыхание — так поступают охотники за жемчугом на Карибских островах, лучшие ныряльщики в мире, — нужно втягивать воздух, словно ты пьешь что-то через соломинку, получается свистящий звук. Но не свист, а такой шипящий звук, как от сильного ветра, когда он дует в замочную скважину.

Вдохнув полной грудью, я ушел под воду. Не знаю, наверное, я плакал — не знаю. Под водой не понять, слезы если и текут, то тут же растворяются. Лишь во рту горечь. Валет меня не удивил — ничего другого я и не ожидал от брата. Сероглазов тоже — пижон, одно слово. Почти немец. Но вот Арахис! Женечка Воронцов! И Гусь! Даже Гусь, с которым два года назад мы заблудились в подземелье часовни. Даже Гусь...

Я снова всплыл. Лежа на спине, глядел в синее равнодушное небо, глядел на облака, на птиц. Они пролетели крикливой стаей, промчались низко, в сторону острова. Ласточки, черные и быстрые, как торопливые каракули на белом листе бумаги. Их крики, резкие, болезненно острые, напоминали мышинный писк. Вот, значит, как это будет — никто просто не обратит внимания. Точно меня никогда и не существовало свете. Никто не будет рвать волосы и рыдать, никто даже не взгрустнет на минуту, не подумает — вот жил такой Чиж, и вдруг нет его. Будут гонять на великах и лупить в футбол, ловить раков на Лауке и воровать яблоки в Латышской слободе. Вот, значит, как.

Течение несло меня к острову. Он никак не назывался, вернее, все звали его просто — Остров. Тем более что других островов в округе не было, и, если речь не шла о Святой Елене, Яве, Мальте или острове Мадагаскар, то каждому было ясно, какой остров имеется ввиду. На нашем острове никто не жил, но назвать его необитаемым я б не решился. На его дальнем конце летом устраивались танцы, концерты, иногда показали кино — там стояла дощатая летняя эстрада в виде ракушки со сценой, перед ней были вкопаны длинные лавки для зрителей. По бокам располагались фанерные будки, где толстые тетки торговали пивом, теплым лимонадом и раскисшими эклерами.

С латышским берегом остров соединялся подвесным мостом на стальных тросах толщиной в руку. Трос пружинил, мост покачивался как батут, шагать по такому мосту было сплошное удовольствие — я обратил внимание, что пешеходы на нем всегда шли улыбаясь. Это как с велосипедом — нельзя мчаться на велике с мрачным лицом.

Наш мост, что соединял остров с гарнизоном, был деревянным и его каждой весной сносило ледоходом. Однако, к началу лета появлялся новый — из свежих сосновых досок, ярко-желтых и пахучих. Его строили солдаты с аэродрома — быстро и бесплатно.

Остров считался нейтральной территорией. Драк не случалось: по неписаному закону конфликты решались в других местах, правило это соблюдали и латыши, и наши. Зимой дрались на льду Даугавы — посередине реки, а в теплое время за стрельбищем или на лопуховом поле за Еврейским кладбищем.

Если спросить у птиц, то они бы сказали, что с неба наш остров похож на щуку — длинный, с вытянутым острым носом. Там, на дальней косе, за высокой чащей дикого орешника, есть одно тайное место — песчаный мыс. С трех сторон он окружен зарослями камыша, непроходимыми, как амазонские джунгли. Попасть на мыс можно только вплавь, но зато какое это блаженство — прямо из холодной реки рухнуть в горячий песок, белый и мягкий как сахарная пудра. На мелководье, в теплой как суп воде, дремлют шурята. Плоские и прозрачные, точно отлитые из бутылочного стекла елочные игрушки, они покачиваются лениво в такт речной волне. Тихо шуршит высушенная солнцем камыш-трава, в орешнике свистят щеглы, сверху — пустая синь. И ни души — лишь песок, река и небо.

Неспешным брассом — течение само несло меня — я обогнул камышовые заросли. Острые листья понимались из воды стеной, на длинных стеблях покачивались пушистые метелки. Из мелкой зыби выступала песчаная отмель, похожая на одинокий бархан, точно какому-то сумасбродному джинну пришла в голову блажь перенести к нам кусок Сахары. Без единого всплеска, подобно коварному аллигатору, я вплыл в заводь. Грудь коснулась песка — мягко, я вытянулся на мелководье и блаженно застыл. Вода, прогретая солнцем, была тут градусов на пять теплей, чем на стремнине.

Но что-то тут было не так — интуиция меня редко подводит, — вытянув шею, я увидел колени. Они были нагло выставлены вверх, само тело скрывалось за песчаной дюной. Настроение моментально сошло

на нет: весь день превращался в череду неприятных сюрпризов — сначала Валет чуть не сломал мне челюсть, после я чуть не утонул, а теперь вот какой-то самозванец, задрав ноги, развалился на моем пляже. Похоже, негодяй был один.

Дал задний ход, бесшумно погрузился. Вынырнул с левого фланга, в камышах. Прежде чем предпринимать что-то, мне хотелось рассмотреть захватчика — вдруг оккупантом окажется латышский битюг с пудовыми кулаками. Длинные стебли шуршали, покачиваясь на ветру. Я выпрямился.

В песчаной ложбине лежала девица. Абсолютно голая. Ей на колено опустилась зеленая стрекоза, ленивой ладошкой и не открывая глаз, девица согнала насекомое. И снова закинула руку за голову, раскрыв белую подмышку с золотистыми кудряшками. Такие же, только чуть темней, с рыжеватым отливом, покрывали ее лобок. Девица сонно развела ноги, завитушки вспыхнули на солнце точно клубок медной проволоки. Я с трудом сглотнул, во рту стало шершаво и сухо.

Голую женщину вот так вблизи я видел только один раз, в третьем классе. Сколько мне тогда было — десять лет? Валет гонялся за мной по квартире, я выскочил на лестничную клетку. Дверь к Череповым, нашим соседям, была приоткрыта — их котяра, наглый Че Гевара, сидел тут же, увлеченно валяя по кафельному полу придушенную мышь. Прошмыгнув в соседскую дверь, я прокрался в гостиную и спрятался за шторой. Такие же шторы — тяжелые, бархатные, с золотыми кистями, висели и у нас. Черепов и мой отец до Прибалтики вместе служили в Йотербурге. В наших квартирах стояли одинаковые ореховые буфеты на львиных лапах, за буфетным стеклом красовались идентичные сервизы «Мадонна», расписанные пасторальными сценами из жизни баварских пастушек в розово-голубой гамме, а с потолка обеих гостиных свисали, неотличимые, как близнецы, хрустальные люстры. Из глубин квартиры донесся шум — шаги и пение, дверь распахнулась, и в гостиную вошла тетя Вера.

Кроме намотанного тюрбаном банного полотенца, на соседке не было ничего. Напевая что-то мурлыкающим сопрано, она остановилась перед зеркалом, всего в метре от меня. От ее большого распаренного тела тянуло жаром и земляничным мылом. Протяни руку, при желании, я бы мог запросто дотронуться до ее круглой, как мраморный шар, ягодицы.

Тетя Вера разглядывала себя в зеркало с разных сторон, втягивала живот, вставала на цыпочки. Она поворачивалась спиной и огляды-

валась, кому-то задорно подмигивая и посылая воздушные поцелуи. Игриво хлопала себя по заду, на нежной коже оставались розовые отпечатки ее ладошки. Потом, достав из трюмо синюю жестянку, соседка принялась мазать себя каким-то кремом, жирным и белым как сметана.

Мне удалось разглядеть все. Я стоял совсем рядом. Меня удивило и разочаровало, что у тети Веры между ног не было ничего, кроме пучка жестких и линейных, как мочалка, волос. Нет, я, конечно, и до этого видел голых женщин — на картинках: и игральные карты с голыми немками, и отцовская шариковая ручка, которую он прятал в глубине письменного стола, рядом с завернутым в бархатную тряпицу семизарядным «Браунингом». И большая картонная фотография, задвинутая за пианино, которую тайком мне как-то показал Арахис у себя дома, — на ней раскрашенная розовым дородная нимфа нежилась на берегу черно-белого лесного пруда.

Реальность оказалась скучной. Словно тот, кто ее выдумывал, был ленив или не очень умен. Неужели нельзя было придумать что-нибудь интересней пустого места с мочалкой на загровке? Ну, хорошо, не совсем пустого — спустя год Шурочка Руднева с третьего этажа с завидной гордостью продемонстрировала мне всю затейливость этого органа — дело было под Новый год, в клубной кладовке, у нас был китайский фонарик и целый кулек шоколадных конфет.

Сейчас, прячась в камышах, я стоял по грудь в воде и не знал, что делать дальше. Мне в икры щекотно тыкались мальки, страшно хотелось пить. Солнце перекаатило через реку и уже висело на латышской стороне, прямо над шпилем костела. Девица открыла глаза. Потянулась, развела руки и одним ловким и сильным движением встала. Отряхнула песок с ягодич, к загорелой ляжке прилипла полоска водоросли, прилипла изумрудным зигзагом, точно руническая татуировка или тайный знак. Она стояла неподвижно и смотрела на реку. Не знаю почему, но я сразу решил, что она латышка. Военный городок не так велик, и всех своих мы знали в лицо. И хотя она запросто могла приехать к кому-то из наших в гости, на каникулы, у меня была уверенность, что девчонка с того берега.

Одного со мной возраста, может, чуть старше, она напоминала циркачку — из тех, что танцуют на канате, — мускулистая и грациозная, она стояла гордо, подобно птице, готовящейся взлететь. Да, именно природная грация, почти животная — так грациозен и естественен

олень в лесу или ястреб в небе; к тому же ровный загар, без бледных полосок от купальника — девчонка казалась частью речного пейзажа, фрагментом из мозаики опрокинутого неба, летнего зноя и песчаной косы. Не знаю — чуть ли не наядой или сильфидой.

А может, все мои фантазии были последствием нокаута — сказать трудно. Лицо мое горело, челюсть от удара налилась болью и пульсировала, в голове стоял нудный зуд — как в трансформаторной будке. И когда латышка повернулась и посмотрела мне в глаза, я даже не удивился. Будто она с самого начала знала, что я прячусь тут, в камышах. Взгляд ее, спокойный, без тени смущения или хотя бы испуга, мне выдержать не удалось, к тому же она теперь стояла лицом ко мне бесстыже выставив круглые розовые соски и все остальное.

Я натужно закашлялся, начал поправлять волосы, а она молча вытянула руку и поманила меня ладонью, ласковым жестом — лодочкой.

Путаясь в камышах, я неуклюже выбрался на берег. Остановился метрах в трех, не зная куда девать руки. Скрестил на груди, потом заложил за спину. Упер в бока — нет, снова убрал за спину. Очень старался не пялиться на ее соски и на все остальное.

Песок приятно жег пятки, девица все так же молча наблюдала за мной. У нее были веснушки — на носу и щеках — летние, такие высыпают и у меня, но до зимы они не дотягивают. И выгоревшие в белое волосы, обрезанные чуть выше плеч. Глаза серо-голубые тоже казались выгоревшими, слишком светлыми на загорелом лице.

— Жара... сегодня, — выдавил я глухо, начало фразы вышло сиплым, а конец взмыл писклявым фальцетом.

Я снова закашлялся в кулак. Снова начал причесывать пятерней волосы. Стая ласточек промчалась над нашими головами, просвистела в сторону латышского берега. Там, точно кусок школьного мела, белел тощий костел с черным крестом на шпиле, пологие отмели выползали из воды песчаными залысинами и врезались острыми языками в изумрудные холмы, из-за мохнатых яблонь выглядывали черепичные крыши с кирпичными трубами. Те самые яблоневые сады на окраине, на которые мы совершали наши августовские набеги — «крестовые походы», как называл их Арахис. Достаточно, кстати, рискованные — латышские овчарки, что сторожили сады, отличались лютостью и прытью.

Латышка никак не отреагировала на мое замечание о погоде. Ни словом, ни улыбкой — никак.

— Часа три уже, — попытался я еще раз. — Или полчетвертого. Должно быть...

Тут она кивнула. Мне удалось улыбнуться, наверное, улыбка вышла так себе, девица не ответила, лишь сузила глаза. Я вспомнил: такие глаза стеклянного бутылочного цвета с черной дробинкой зрачка — у полярных лаек. Хаски, кажется, называется эта порода.

Мы с ней были почти одного роста, я незаметно расправил плечи и выпрямился. Латышка разглядывала мой подбородок, должно быть, там всю зрел синяк. Потом опустила взгляд, она глядела на плавки. Смотрела без смущения, без кокетства или любопытства — просто смотрела. Я втянул живот и перестал дышать. Потом она сделала жест, простой и ясный.

— Снять? — чужим голосом спросил я.

Тут она улыбнулась и дважды — да-да — кивнула.

Небо за ней стало белым, солнце растеклось слепящим нимбом, река побелела и вспыхнула, точно вода превратилась в ртуть, сияющую белой ртуть. Песок жег пятки. Меж лопаток проскользнула горячая капля пота, оставив щекотную дорожку. Горло мое издало тихий икающий звук, должно быть, там, внутри, сердце оборвалось и рухнуло вниз. Все оказалось правдой — и Мопассан, и вранье старшекласников, и подслушанные истории взрослых. Истинной правдой. Но до конца поверить, что все это происходит на самом деле, происходит со мной, я все равно не мог. Контуры реальности потекли, как горячий воск.

Онемевшими пальцами я стянул мокрые плавки, зажал в кулак и зачем-то выжал. Голова моя плыла, куда-то плыл весь мир — река, небо, облака. Сложив руки, я прикрыл плавками низ живота. Сердце колотилось в висках, в горле, грохотало в грудной клетке — звук этот долетел наверняка до того берега. Не хватало еще в обморок шлепнуться — вот это будет номер. Я глубоко вдохнул три раза, но это тоже не помогло.

Латышка по-хозяйски выдернула из кулака мои плавки, без стеснения оглядела — сначала меня, потом плавки. Растянула их между большими пальцами, скрутила жгутом и ловко завязала в узел. Я заворожено наблюдал за ней, словно в ожидании какого-то занятого фокуса. Затянув второй узел, девица подкинула тугой комок на ладони, точно теннисный мяч. Нехорошая догадка мелькнула в голове, я даже что-то промямлил, но было поздно: латышка, пружинисто отступив назад, резко, по-мужски, размахнулась и сильным броском зашвырнула мои плавки на середину реки.

Бросок вышел отличный — метров на тридцать. Плавки шлепнулись — всплеск, и все — пропали. Не оглянувшись, даже не посмотрев на меня, девица вошла в воду по пояс и нырнула. Я стоял как истукан — молча. Вынырнув, она уверенным кролем поплыла к своему берегу. Ее голова с солнечным зайчиком в мокрых волосах быстро удалялась, вот она добралась до стремнины — река там искрилась-играла бликами, течение подхватило ее и понесло. Ладонью я загородился от солнца, вода слепила, как разбитое зеркало, мне казалось, что я все еще вижу ее — крошечную точку в искрящемся мареве света. Но, должно быть, мне так только казалось.

Немного было жаль плавков. Совсем новые, японские, я в них плавал первое лето. Мне их купили перед самыми каникулами. Придется что-то врать родителям. Но не думал я, как буду дома объяснять пропажу. Не очень думал и о том, каким макаром доберусь до своей одежды на том берегу, да, видать, придется пробираться камышами вдоль берега. Ведь и дураку ясно: плыть тут против течения — дохлый номер.

3

Та голая латышка крепко застряла в моей памяти. Все лето я плавал на конец острова, иногда три-четыре раза в неделю. Выбирался на пустой берег, разглядывал песок, пытаюсь найти свежие следы ее босых ног.

А в августе, за неделю до конца каникул, разбился отец Гуся. Гуслицкий-старший летал штурманом на «двадцать восьмом яке». Отец, с высокомерием истребителя, называл эти бомбардировщики птеродактилями. Летчики — народ суеверный, и, боясь сглазить, они крайне осторожны в выражениях, на деле «двадцать восьмой» был самым настоящим летающим гробом.

Военный аэродром находился на западе, в семи километрах от Кройцбурга. Разумеется, и аэродром, и прилегающая местность — леса, поля и самолетное стрельбище, — считалась зоной повышенной секретности, но каждому в нашем военном городке было известно, что на аэродроме базировались две эскадрильи — разведчики и истребители. И что истребители летали на «двадцать первых мигах», а разведчики на «яках». Когда «яки» прогревали движки на форсаже, рев был слышен в городе.

Из разговоров летчиков и технарей, подслушанных в буфете Дома офицеров, бильярдной и на разнообразных застольях, выходило, что конструкторы бюро Яковлева не довели машину до ума, каркас фюзеляжа был слаб и при полной заправке топливом деформировался до такой степени, что невозможно было закрыть фонарь кабины. Поэтому перед вылетом в машину сначала усаживались штурман и пилот, техники закрывали кабину и только после этого заливали керосин в баки.

Батя Гуся не успел катапультироваться — так решила комиссия. Три офицера из Даугавпилса и толстый полковник из Москвы. Сразу после взлета и выключения форсажа, возник разнотяг двигателей, стабилизатор курса не сработал, и самолет, потеряв управление, упал. С момента взлета до падения прошло три минуты сорок секунд. Второй пилот, капитан Сергиенко успешно катапультировался и остался жив.

На похоронах был весь гарнизон. Я старался не думать, что лежит в заколоченном и затянутом красной тряпкой гробу. Место катастрофы реактивного самолета представляет из себя глубокую воронку и круг выжженной земли, радиусом в километр, усеянный кусками обгоревшего алюминия. От гордой крылатой машины не остается ничего, кроме мелкого металлического мусора и запаха керосиновой гари. О человеке и говорить не приходится.

Гроб стоял на сдвинутых столах, порытых черным крепом. Большая фотография, в раме и под стеклом, украшенная траурным бантом и красными лентами, напоминала фото киноактера. Вроде тех открыток «Звезды советского экрана», что коллекционируют девчонки. От ретуши сходство почти исчезло, и отец Гуся больше походил на артиста Козакова, чем на капитана Гуслицкого. Сам Гусь, серый и прилизанный, в пиджаке с квадратными плечами, стоял тут же. Рядом была мать, с красным и мокрым лицом, ее окружала какая-то деревенская родня в тугих черных платках, похожая на стаю осенних грачей.

Из замка, то есть из Дома офицеров, поехали на кладбище. Я оказался в автобусе с музыкантами, пролез на заднее сиденье, ехал и разглядывал свое кривое отражение в медном раструбе геликона. Рядом уселась Шуручка Руднева, она без конца тараторила сдавленным шепотом про какого-то Костика, который что-то ей обещал, но не сделал. Или сделал, но не так, как обещал. Потом про какой-то парикмахерский техникум в Резекне. От нее разлило сладкими подкисшими духами, вроде «Красной Москвы». Трубач, солдатик с интеллигент-

ным лицом, обернулся и вежливо попросил ее заткнуться. Руднева фыркнула и уставилась в окно. Мне хотелось поблагодарить трубача, но я промолчал — чтоб не бесить Рудневу.

На кладбище я не пошел к могиле, остался у автобусов. От них пахло бензином и горячей резиной. У дальнего автобуса шоферы-солдаты сидели на корточках и курили в кулак. Я тоже присел на корточки. Теперь я не видел кладбища — люди, венки, красный гроб, взвод автоматчиков и оркестр скрылись за холмом. Ветра не было, стоял зной, лето заканчивалось. Я провел ладонью по колючей желтой траве, потом положил руку на сухую потрескавшуюся глину. Глина была теплой, как человеческое тело. Вместе с летом заканчивалось еще что-то — тогда я не знал, что мысль эта банальна, я никогда прежде не испытывал подобного чувства. Тогда впервые в жизни я осознал свою смертность, конечность этого мира. Осознание пошлости этих фраз приходит позднее, с опытом, который прессуется в цинизм, а тогда мне чудилось — нет, я был уверен, — что здесь и сейчас мне открылась главная тайна вселенной. Впрочем, банальность истин не отменяет их истинности.

Солдаты дали залп. Это означало, что гроб опускают в яму. Потом еще один. И еще. Сухое эхо вернулось из дальней рощи, и тут же оркестр выдул какой-то чудовищный до-мажор. Повисла пауза — ненадолго — и вот с раскачкой, нестройно, точно пьяный, что топают вверх по крутой лестнице в пудовых сапогах, зазвучал гимн. Медная секция рычала, тарелки истерично звенели, геликон интеллигентного солдатика гудел страшным басом. Колотушка большого барабана увесисто лупила ему в такт.

Звук — не мелодия, скорее, какофония — заполнил пространство. Знойное небо стало желто-белым, как выгоревшая бумага. Сухая трава блестела, точно колючая пластмасса. Унылое поле упиралось в березовую рощу, на кромке громоздились огромные валуны, похожие на стадо отдыхающих бизонов. Эти гигантские камни остались в Латгалии с ледникового периода. Ледник полз и тащил глыбы за собой — так нам говорили в школе. Пыльная дорога взбиралась на холм, там, на самой макушке остановился велосипедист. Черный силуэт велосипеда с дамской рамой, и женщина в летнем сарафане. Она стояла спиной ко мне и смотрела вниз, на кладбище.

Гимн наконец закончился. Я испытал почти физическое облегчение. Женщина на холме легко запрыгнула в седло, чуть помедлила и быстро

покатила вниз. Ловко виляя меж камней и выбоин, она пронеслась мимо наших автобусов, стоявших на обочине. Летящий сарафан, загорелые коленки, выгоревшие в белое волосы. Один из шоферов свистнул вслед, остальные громко заржали. Мне стало стыдно, будто я имел к ним какое-то отношение, к этим солдатам. И еще — если бы за эти два месяца я уже не ошибся дюжину раз, то сейчас готов был бы поспорить, что узнал ее.

4

Когда мне было около семи, я научился быть невидимкой. Оказалось не так сложно — тут главное, молчать и не шевелиться. Мы могли сидеть за обеденным столом — отец, мать, брат, — и, если я включал режим невидимости, то меня обычно не замечали от супа до десерта. Допив компот и тихо съев раскисшие абрикосы и изюм, я мог незлышно выскользнуть из-за стола и, мягко ступая, выйти в коридор, аккуратно открыть входную дверь и прошмыгнуть на лестничную клетку. А оттуда по ступенькам вниз и на улицу — на волю.

Впрочем, быть невидимкой не всегда плюс. Однажды из-за этого чудесного дара меня чуть не потеряли. Дело было на юге — мы всей семьей приехали навестить деда, он отдыхал, как и полагается настоящему генералу, на Черном море, в Сочи, разумеется, в санатории имени Ворошилова.

Я еще не успел прийти в себя от железнодорожного путешествия — железный грохот колес, ночные остановки на таинственных станциях, гром тамбуров, сладкий чай с привкусом паровозной копоти. А эти гудки, похожие на зов вымерших ящеров! А кромешный ад туннелей!

Дед нас встречал за коваными воротами главного входа. В турецком махровом халате с золотыми кистями, с дубовой тростью в руке, он, припадая на протез, прогуливался по мокрому мрамору аллеи. За ним, из ухоженных зарослей жасмина и бамбука, поднимались разлапистые магнолии с мордатými цветками и строгие кипарисы, больше похожие не на деревья, а на траурные колонны. Вдоль аллеи в кустах прятались скульптуры солдат в мужественных позах, а выше, среди мокрой зелени, белели корпуса санатория. Еще выше виднелись горы. Нежно-сиреневые и полупрозрачные, будто вырезанные из папиросной бумаги, они походили на оптическую иллюзию или на чудо.

К пляжу спускалась широкая лестница с террасами, где примостились каменные беседки с белой колоннадой, а рядом, параллельно лестнице, проходила настоящая железная дорога. Стальные рельсы горели на солнце, они круто уходили вниз и утыкались в лазоревое море. По рельсам вверх и вниз резво гонял вагон. Тогда впервые я услышал слово «фуникулер».

Отец вырядился в летний костюм — двубортный пиджак песочно-го цвета, шелковый галстук с тропическим орнаментом, кремовые штилеты, — дед крепко пожал ему руку. Пожал руку и брату, меня ущипнул за щеку. Матери просто кивнул. Я был уверен, что мы тотчас же отправимся на море — волшебный вагон доставит нас прямо на пляж. Отсюда, сверху, я видел кромку берега с зонтами и белую полоску прибоя. Ну, и море, конечно.

— Так, — дед вскинул руку с часами, — обед я заказал. Тринадцать ноль-ноль. До обеда — бассейн.

— Папа... — пискнула мать и осеклась.

Простое это слово она произносила всегда с трудом, почти с мукой. Мне показалось, что ей тоже очень хочется на море. Дед не обратил на нее внимания, он повернулся и, гвоздя палкой мраморные плиты, захромал в сторону бассейна. Дед успел загореть, бритый череп сиял бронзой, — старик был мрачен и монументален, как султан в изгнании. Остальные Краевские послушно двинулись за ним. Все, кроме меня.

Ослушаться старика мне бы не пришло в голову, я просто растерялся. Приехать к морю и купаться в каком-то дурацком бассейне? В этот самый момент к платформе причалил вагон фуникулера и приветливо распахнул двери. Толстяк, похожий на дачника, и женщина в изумрудной пижаме неспешно вошли внутрь. Я включил режим невидимости и прошмыгнул за ними. Двери закрылись. Вагон беззвучно тронулся и покатил вниз. Мимо проплывали кусты красных рододендронов и пальмы с волосатыми, как орангутаньи ноги, стволами.

Первым делом я подбежал к морю. Галька в полосе прибоя была мелкая, она звонко шуршала в морской пене и походила на конфеты «морские камушки». Волна подкатывала — я отступал. Она закручивалась белым гребнем, разбивалась и с печальным выдохом убегала назад, заманивая меня в море. Процесс напоминал игру. Все коварство этой игры я испытал, когда одна из волн неожиданно оказалась вдвое выше предыдущих и окатила меня с ног до головы. Я стоял в шортах и сандалиях, мокрый по пояс, и смеялся. Море оказалось не просто водой, оно было живым,

веселым и озорным существом. От него пахло мокрой солью и свежими огурцами. Упругие волны катили к берегу, белые барашки пенились и исчезали. На горизонте, сливаясь с небом, виднелся корабль. Плоский, как мишень в тире, он почти неприметно полз на север.

— «Червона Украина», — раздалось басом с небес.

Я обернулся. Надо мной возвышался великан с пышными седыми усами — голый, если не считать черных трусов по колено и тюбетейки.

— Крейсер, — добавил он непонятное слово. — Бывший «Адмирал Нахимов».

— Пароход? — задрал я голову.

— Салага! — Усатый продолжил говорить загадками. — Крейсер, говорю.

Он присел на корточки. Руки, большие и страшные, все в седых волосах, были покрыты шрамами и синими татуировками. Правая напоминала клешню — указательный палец был срезан под корень, на его месте торчала розовая круглая шишка.

— Ты чей, малец?

— Краевский.

— Хромой который? Армейский, из танкистов?

— Вы тоже генерал?

— Морской только. Знаешь, как называется?

Я знал. Он одобрительно хлопнул меня по спине. Я поперхнулся, ладонь его была, как лопата. Он засмеялся. Из седых волос на груди взглядывала некрасивая русалка с огромными сиськами. На плече синел якорь, его обвивали две змеи с острыми языками.

— Это жало? — Я ткнул в змею.

— Язык это. У них яд в зубах.

— А как же они сами не отравятся?

Адмирал задумался.

— Плавать умеешь? — спросил.

— А то!

— А нырять?

— Ну.

— А под водой сколько можешь просидеть?

— Зачем? — удивился я.

— Ты что? А вдруг винт заклинит. Починить, — адмирал поскреб клешней подбородок. — Или фашистский корабль взорвать потребуется. Мину подложить. К примеру.

Я прикинул — моряк дело говорил.

— Пойдем, салага, — он снова огрел меня ладонью. — Научу.

Я разделся, остался в трусах. Адмирал кинул тубетейку на гальку, взял меня за руку. Мы вошли в воду. Мне по горло, ему по грудь.

— На островах Карибского моря ловцы жемчуга сидят под водой по три минуты — запросто...

— А я?

— Вот щас мы и проверим! Под водой не жмуриться! Смотреть на меня! Травить воздух по мере надобности — ферштеен?

Мы погрузились. Его усы распушились, он стал похож на моржа, только без бивней. Мне снова стало смешно, я начал пускать пузыри и тут же, нахлебавшись воды, закашлялся. Под водой кашлять оказалось неподручно. Моряк выдернул меня на поверхность.

— Эх, салага! Секи момент! — Он держал меня за плечи, мои ноги болтались, не дотягиваясь до дна. — Правило номер один!

Через два часа я нашел столовую, наш столик стоял на открытой террасе. Мои только пришли и неспешно рассаживались. По белой скатерти расплзались кружева тени от дикого винограда, что хищно обвивали бамбуковый навес. Проскользнув на пустой стул, я выставил ладошки, тихо сказав: «Руки мыл». Хотя меня никто и не спрашивал.

— Где соль? — грозно спросил дед.

— Чижик, — мать тут же обратилась ко мне, — передай дедушке, соль, пожалуйста.

Соль, перец, горчица и хрустальный флакон с уксусом компактно гнездились на мельхиоровом подносе рядом со мной. Схватив соль, я вскочил и тут же все опрокинул. Из склянки с горчицей на скатерть выползла желтая жижа. Резко пахнуло уксусом.

— Раззява! — радостно крикнул брат.

Отец брезгливо сморщился, мать отвела глаза. С вытянутой рукой я замер, в кулаке была зажата солонка. Дед поднял глаза.

— Поставь! — он взглядом указал перед собой. — Соль из рук в руки не передают. Примета плохая.

5

Спустя годы я рассказал брату про то утро на пляже, про адмирала с русалкой на груди. Про то, как моряк учил меня нырять по системе карибских охотников за жемчугом.

— Ну, зачем? Зачем ты все время врешь? — Брат горестно покачал головой, точно я его смертельно расстроил. — С тобой как с человеком, а ты...

Родителей не было. Разговор происходил вечером, на кухне, в редкий момент затишья в нескончаемой череде наших междоусобиц. В приливе откровенности, как дурак, я признался в том моем давнем приключении.

— Ты был с нами, — брат говорил медленно, явно сдерживая раздражение. — Я помню. Ты был с нами все утро. В бассейне. И потом. Когда гуляли по парку.

Мне прекрасно было известно, что следует дальше. Что скажу я, что ответит он. Какого черта я все время лезу на рожон? Зачем? Господи, кому и что я хочу доказать? Кому? Себе, в первую очередь.

— У него не было пальца, — я выставил руку и показал: — вот этого!

Наши ссоры напоминают обвал в горах. Сорвался булыжник — случайно, залепил другой, потом третий, и вот посыпались-покатились под откос камни — не удержать лавину. Несется камнепад, растет, ширится. Сметаёт-крушит все на своем пути.

— Я говорю правду! — мрачно отрезал я.

Запахло гарью. Валет выругался и, схватив сковороду, сунул ее под кран. Пар, шипя, взмыл к потолку. Мы собирались жарить яичницу.

— Ты посмотри на себя! — Он с грохотом швырнул сковороду в раковину. — Ты ж урод! Ничтожество!

Валет, похоже, ошпарил себе руку. Он вывернул кран до упора, подставил ладонь под воду. За окном совсем стемнело. Малиновая благость заката вытекла в лиловый кисель сумерек. Клеенка на столе блестела, точно залитая сизым лаком. Лицо Валета казалось совсем темным, лишь белая майка да зубы. Должно быть так выглядят те самые карибские ловцы жемчуга.

— Я говорю правду, — упрямо повторил я.

Вода громыхла в жесть раковины.

— Правду говорю! — крикнул громче.

Валет повернулся. Лениво ухмыльнулся. Воняло сырой гарью и жженым маслом.

— Докажи.

Я оглядел кухню. Как? Валет, снисходительно улыбаясь, наблюдал за мной. Потом он закрутил кран. На кухне стало совсем тихо.

— Докажи, — повторил он почти ласково.

У меня тряслись руки. Как? А он улыбался. Больше всего на свете мне хотелось сейчас вмазать изо всех сил по этой улыбке. Да, родной брат был единственным человеком в этом мире, способным взбесить меня за одну секунду. Уверен, он мог бы сказать то же самое и обо мне.

Валет старше всего на одиннадцать месяцев. Мы с ним похожи, но — всегда и везде есть это проклятое «но», — природа, Бог или кто там занимается изготовлением нас, людей, так вот, этот творец явно израсходовал все свое старание на брата. Меня же слепил наспех, без особого азарта. Я — как неудачная копия картины, как бракованный оттиск с гравюрной доски. Как никому не нужный повтор. В этом есть своя логика, если согласиться с братом, что мое появление на свет не было запланировано и является скорбным результатом стечения непредвиденных обстоятельств.

Наше проклятое сходство было для меня досадно стократ — я рос, изо дня в день видя перед собой лучшую вариацию самого себя. Чуть выше, чуть грациозней, чуть мускулистей. Не вихры — локоны. Глаза не просто серые — стальные. Линия подбородка решительней, жестче. Даже голос, господи, даже голос — и тот у него ниже и глубже тембром.

Мы стояли на темной кухне. Я — зло подавшись вперед. Он — лениво привалясь к стене, изображая небрежную вальяжность. Но мне-то было известно: там, внутри, клокочет кипящая лава.

— Правду говорю! — Я грохнул ладонью по столу.

— Правду?

Он отклеился от стены, подошел, встал напротив. Нас разделял стол, квадратный кухонный стол, накрытый клеенкой.

— Правду? — тихо повторил, выдвигая ящик стола.

Там хранились ножи. Он достал один, кухонный, с деревянной ручкой. Древний, старше нас обоих, его точили столько раз, что лезвие стало узким, как шило. Валет приблизил острие к моей руке. Легонько ткнул. Я вдавил ладонь в клеенку, но руку не убрал.

— Ты ж боишься боли, — сказал, дыша мне в лицо. — Я-то знаю...

Он надавил сильней. Больно, но терпимо.

— Скажи: я все придумал.

От Валета воняло сигаретами и мятой, должно быть, зажевывал, чтоб мать не учуяла. Острие впивалось сильней.

— Просто скажи — я врал.

— Нет.

Я видел силуэт моей распластанной руки и узкую полоску стали. Валет надавил сильней. Боль стала почти невыносимой.

— Нет! — выкрикнул я. — Нет! Нет!

— Да! Да! Скажи да, сволочь!

— Нет!

— Мразь! — Валет рывкнул мне в лицо. — Ничтожество! Тварь! Ты никому не нужен на этом свете — понимаешь? Никому!

Он размахнулся и всадил нож мне в руку. Звук — хруст, точно разделяют цыпленка. И деревянный стук. Нож воткнулся в стол. Моя рука, словно морская звезда, которую пригвоздили, как трофей, — вот последнее, что я запомнил, прежде чем потерял сознание.

Впрочем, мне повезло — лезвие прошло как раз между лучевыми костями кисти, между указательным и средним пальцами. Сталь пробила мякоть. Ни сухожилия, ни нервы не были задеты. Как сказал доктор, исход мог быть гораздо (гораздо! — и грозно поднял указательный палец) печальней, вплоть до полного паралича пальцев. А так — приметный шрам на ладони и с другой стороны, ничего страшного.

5

Откуда у нас взялась та игра — бог знает. Мы называли ее «железкой» или «корридой». Арахис уверял, что это разновидность дуэли, принятой у испанских моряков, когда левые руки участников поединка привязывают веревкой друг к другу, а в правую дают по ножу. «А если один левша?» — подначивал Арахиса ехидный Сероглазов.

Женечка Воронцов слышал, что у «лесных братьев» так проверяли новых членов банды. Отец его, капитан Воронцов, служил в «особом отделе», и Женечка действительно мог обладать секретной информацией. «Сдрейфил — в расход!» Женечка, выставив указательный палец, стрелял в воображаемого труса.

Не знаю, не знаю — тоже сомнительно. Испанцы — возможно. Литовцы и латыши — маловероятно. Мне виделась в той забаве наши родные, русские, корни. Больше всего она мне напоминала «русскую рулетку» — та же концепция: «Жизнь — копейка, судьба — индейка». Роль пули в нашем варианте играл поезд, желательно курьерский или скорый. Товарняки, особенно с цистернами, ползут еле-еле. Никакого азарта, от товарняка даже ребенок увернется.

Правила просты: два участника встают на рельсы — каждый на свой, берутся за руки. Поезд приближается. Тот, кто первым спрыгнет с рельса, проиграл.

Наш Кройцбург лежит на прямой между Ригой и Москвой, и его железнодорожный статус куда выше муниципального. Один вокзал чего стоит: башню с кованым флюгером на остром шпиле — крестоносец на коне (после войны крест на щите покрасили красной звездой) — видно даже с той стороны Даугавы.

Вокзал построил полтора века назад Джузеппе Монзано, ненароком застрявший в латгальской глуши архитектор из Милана. Об этом оповещала едва различимая надпись на позеленевшей доске у входа. Ностальгия по бергамским закатам в сочетании с провинциальной тоской породили архитектурное чудовище. Темпераментный Джузеппе храбро смешал мавританский стиль с поздней немецкой готикой, щедро приправив это французским барокко.

Здание красного кирпича двойной кладки получилось мощным, как крепость: в случае чего тут запросто можно было бы держать длительную осаду. Фортификационная надежность не помешала итальянскому мастеру проявить и изрядную эстетическую изощренность. Вдоль фронтона на уровне второго этажа из лепных алебастровых выкрутасов, хищных лилий и орхидей вылезали, траурные от паровозной сажи, крутобедрые наяды и грудастые нимфы. В нишах стрельчатых окон прятались хмурые чугунные воины с дротиками и кривыми ножами, а в час ясного заката центральная башня вокзала вспыхивала кафедральным витражом, ослепительному разноцветью которого могла бы позавидовать роза Шартрского собора. Вокзал, увы, оказался последним творением странствующего маэстро. Под конец строительства он сошел с ума и вскоре удавился в местной психлечебнице, что за цементным заводом. Там и сейчас лечат психов. Похоронили архитектора тут же, на Латышском кладбище, что у замковой часовни. На могиле невезучего итальянца до сих пор грустит кособокий ангел без крыла и с оббитым лицом.

Место «корриды» — на восточной окраине, за водонапорной башней, выбрано не случайно: пассажирские и скорые еще не начинают тормозить перед станцией. А экспрессы «Балтика» и «Латвия» — те летят вообще как сумасшедшие, они не останавливаются в Кройцбурге. Несутся напрямик до самой Риги. Экспресс — вот главное испытание.

«Балтику» мы ждали в четыре пятнадцать, «Латвия» появлялась ровно в семь вечера.

Семичасовой экспресс был прекрасен и страшен. Как огнедышащий дракон. Должно быть такой же сплав ужаса и восторга испытывали те древние рыцари, что выходили на поединок с чешуйчатым пожирателем девственниц.

Кеды — идеальная обувь для «корриды», лучше всего, конечно, китайские, «Два мяча». Лишь самоубийца решится встать на рельсы в сандалиях или ботинках. Подошва должна быть эластичной, а главное — чуткой.

За спиной садилось солнце. Сентябрьское небо розовело, как фруктовый зефир. Рельсы расплавленной ртутной стрелой сходились на горизонте. Из пустоты, из звона кузнечиков, из вечерней одури умирающего лета возникал тихий звук — не звук, предчувствие звука. Пятки ловили зуд металла. Шепот стали, щекотное предвкушение летящего к тебе ада. Рельсы начинали петь — высокий звонкий голос, ангельское сопрано. На горизонте вспыхивала лимонная искра. Лобовые стекла локомотива отражали закатное солнце. И это солнце несло прямо на тебя. Как шаровая молния, как расплавленный болид.

Машинисты включали сирену — трубный рык разъяренного дракона. Рев был страшен, наверное, именно такой звук вгонял в ступор средневековых витязей. Не дай бог в этот момент ощутить слабость — ком в горле, узел в желудке, дрожь в коленях. Не дай бог! Ведь теперь счет пойдет не на секунды — на мгновенья.

Мы валялись на насыпи. Курили, пуская по кругу обмусоленную «Шипку». Мы ждали «Балтику». Было около четырех, только что прогремел товарняк, жаркая череда чумазных цистерн. Бесконечная — не меньше сотни.

Гусь лениво поднялся, поплелся к рельсам собирать наши медяки и гвозди — товарняк плющил пятаки в тончайшие — не толще бритвы — золотые чешуйки, из гвоздей получались приличные лезвия для финок. Гусь брел вдоль рельса, нагибаясь и подбирая очередной трофей. После смерти отца он стал молчаливым, каким-то сонным, казалось, что он постоянно что-то обдумывает.

— Мамаша его, — Арахис кивнул в сторону путей, он говорил негромко, — в штопор вошла. По-черному. У сверхсрочников в общаге керосинит...

— По-черному, — повторил Женечка Воронцов. — Они ее там, как сидорову козу... Сверхсрочники...

— Заткнись, а! — перебил его мой брат.

— А что? Батя по телефону...

— У баб такое бывает. — Сероглазов, морщась, затынулся и ловким щелчком стрельнул чинариком в заросли крапивы. — Психика у них херовая. У нас в Потсдаме, у одной врачихи ребенок умер, так она после всю эскадрилью...

— С горя? Да? — Валет зло сплюнул. — Еще один доктор, твою мать! Из Потсдама! Если хочешь знать, я сам в Германии родился...

— А толку? — Сероглазов вскочил на колени. — Родился он! И в пенелках оттуда уехал! А я пять лет — в Дессау три и в Потсдаме два! Если хочешь знать, у меня там даже немка была. Баба взрослая, из obsługi! Понял!

— Сопли тебе утирала, да? — Валет уже стоял на коленях. — Немка! Как звали немку? Как звали?

Сероглазов открыл рот и растерялся.

— Врешь! — брат заорал радостно. — Врешь все! Немка...

— Мужики! — Арахис рычащим басом перекрыл ругань. — Кончай базланить! «Балтика» на подходе — давай жребий тянуть!

Все сразу успокоились. Брат достал из кармана коробок, вытащил оттуда шесть спичек. Обломал у двух концы.

— Только не ты! — буркнул Сероглазов. — Ты жухаешь. Пусть Чиж!

— Как тут сжухаешь, Серый? — возмутился брат. — Ну, как?

— Ладно, отдай! — покровительственно пробасил Арахис. — Чиж, давай!

Я сложил спички, выровнял, закрыл левой ладонью правую. Из моей руки торчало шесть одинаковых коричневых головок.

— Ну? — я протянул Сероглазову. — Давай, Серый.

Он вытянул длинную. Безмятежно сунул ее в рот, закусил.

— Следующий?

Женечка протянул руку, но Валет опередил его. Он выдернул короткую.

— Ага! — крикнул. — Ну, кто со мной?

Меньше всего мне хотелось оказаться на рельсах с братом.

— Женечка, тяни, — я повернулся к Воронцову.

Тот пристально разглядывал серные головки спичек, что-то бормотал. Я сидел спиной к железной дороге. С востока донесся шум, потом далекий гудок.

— «Балтика»? — оживился Валет.

— Рано, — Сероглазов по-взрослому одернул манжет и вскинул руку. — Четыре ноль два. Товарняк какой-то...

— Женечка! Не томи! — Арахис прохрипел надсадным разбойничьим басом.

Шум нарастал, поезд приближался. Женечка ухватился было за крайнюю спичку, но, передумав, вытянул из середины. Длинную. Он выдохнул и заулыбался. Вот дьявол — пробормотал я про себя. Женечка, точно подстреленный, раскинул руки и медленно упал навзничь в траву. Локомотив загудел снова. Теперь уже можно было различить перестук колес. Я протянул спички Арахису.

Арахис выпучил глаза и скроил зверскую рожу. Черный, как жук, он уже был волосат везде, где только можно — даже на спине. Его мамаша, гарнизонная красавица радикально гнедой масти, со вполне предсказуемой кличкой Кармен — на концертах самодеятельности в Доме офицеров она утробным контральто пела цыганские романсы, аккомпанируя себе на гитаре с алым бантом, — сумела передать сыну лишь окрас, все остальное ему досталось от отца — хохла Гулько, круглолицего амбала, похожего на циркового борца.

— Тяни! — крикнул я, стараясь перекрыть шум приближающегося поезда.

Локомотив снова загудел, снова и снова.

— Ну, что там... — Валет привстал, вытянул шею.

Его глаза расширились. Просто как в мультфильме, когда у кого-то от ужаса глаза превращаются в две тарелки. Я обернулся. Состав — длиннющий товарняк — был совсем рядом. Гудок истерично завывал — с промежутками, точно машинист сошел с ума.

На рельсах, спиной к поезду, тощий и черный, как стручок, стоял Гусь. Наклонив голову, он закрывал лицо ладонями. Будто плакал.

Валет — он уже поднялся на четвереньки — с места рванул к путям. Так срывается соседский боксер Дюк, когда ему бросаешь теннисный мяч. Я, да и все остальные, замерли. Не знаю, кричал ли кто-то, адский рев сирены и гром колес перекрывал все. Локомотив, старый электро-воз со звездой во лбу и хищным оскалом стальной решетки — я даже разглядел лицо машиниста, — был метрах в десяти. Валет подлетел к рельсам и, схватив Гуся в охапку, отпрыгнул назад. Они покатались с насыпи. Над ними, громяхая и звеня, понеслись вагоны, груженные лесом. Толстые стволы рыжих сосен были стянуты ржавыми якорными цепями.

Валет что-то орал — грохот заглушал крик, — брат сидел верхом на Гусе и наотмашь бил его по лицу. Бил и орал. Втроем — Женечка, закрыв рот ладонью, стоял на коленях в траве и не двигался, — Арахис, Сероглазов и я оттащили Валета. Лицо Гуся было разбито в кровь. Его губы повторяли одно то же слово. Лесовоз наконец кончился, и я услышал: «Не хочу».

Арахис опустился рядом, приподнял Гуся, по-медвежьи ухватил его за плечи. Мотнул головой нам — мол, отойдите. Гусь был похож на тряпичную куклу. Мы отошли. Валет разбил костяшки, он посо-сал кулак, зло сплюнул в траву красным. Сероглазов из внутреннего кармана куртки достал пачку «БТ», протянул Валету. Тот замешкался, потом вытянул сигарету. Прикурил — я заметил, как мелко дрожит огонек его спички. Затянулся, выдохнув облако дыма, затянулся еще раз и протянул сигарету Сероглазову. Он взял.

— Моника... — сказал, затыгиваясь.

Брат не понял, вопросительно взглянул.

— Моника, — повторил Серый, выпуская аккуратное кольцо. — Немку ту звали. Моника.

6

Зима обрушилась на Кройцбург внезапно. Весь октябрь лил дождь, а тут в субботу ночью вдруг ударил мороз, да какой — минус пятнадцать. На рассвете повалил снег, мохнатый и крупный — с кулак, он падал медленно, казалось, даже медленнее, чем ему положено по закону всемирного тяготения. Еще мне казалось, что город медленно погружается в какую-то белую бездну — мягкую и сонную. Исчезли звуки, пропал цвет. Ведь белый — это не цвет, это отсутствие цвета.

Парк за замком стал плоским, он бледнел, бледнел, постепенно сливаясь с небом. Потом пропал замок. Шпиль с железным флюгером какое-то время волшебнo висел в воздухе, после растворился и он. Я подумал, что если бы бог существовал на самом деле и был действительно добр к людям, то именно так и выглядел бы конец света — ласково, пушисто и тихо. Без грохота и блеска молний, без разверзнутых могил и прущих оттуда толп мертвецов, без яростных архангелов с мечами и трубами. И уж, конечно, без четырех всадников

Апокалипсиса, которых я безуспешно пытался скопировать с гравюры Дюрера в свою тетрадь по обществоведению.

В стекло ударился снежок, я вздрогнул. Под окном стоял Арахис, без шапки, растерзанный, черный и лохматый, красными руками он лепил новый снежок. Я запрыгнул на подоконник, распахнул форточку.

— Офигел? Стекло высадишь!

— Где Валет?

Я фыркнул: что я — сторож ему?

— Айда на спуск! К «фашисту»!

— Речка встала?

— А то! Мороз капитальный!

Место, что у нас именовалось спуском, на самом деле было крутым обрывом, нависшим над Даугавой. Правда, река подступала к подножию только весной, в пору разлива. Летом там зеленел луг, заросший густой осокой. На самом верху обрыва располагалась полукруглая площадка с клумбой и скульптурой военного летчика. Статуя появилась давно, во время немецкой оккупации. Кстати, наш аэродром тоже построили немцы, вернее, военнопленные, которых после отправляли в Саласпилс — концлагерь под Ригой. Так что и аэродром, и бетонные дороги, ведущие к нему, и каменный летчик — все было трофейным.

Видом своим ас люфтваффе ничем не отличался от советского пилота — такой же шлемофон, куртка, галифе, унты, — в руках он держал планшет, устремив гордый взор в сторону водонапорной башни на латышской стороне Даугавы. В пьедестал немцы вделали свастику, теперь там белела бетонная заплатка, смутно повторяющая очертания фашистского символа. Но и без свастики все местные — мы и латыши — называли это взгорье над рекой просто и ясно — «у фашиста».

Именно здесь — «у фашиста» — каждую зиму возникала самая крутая и самая длинная ледяная горка — да что там горка, гора, горище! — во всей округе. Сто метров отвесного льда, отполированного до хрустального звона. И не было зимнего дня, чтоб кто-то не расшибал себе тут лоб или нос, или как-нибудь еще не калечился. Тут ломали руки и ноги, получали сотрясение мозга, вышибали о лед передние зубы. Капли замерзшей крови краснели на утоптанном снегу, точно раздавленная клюква.

Когда мы с Арахисом подошли, на площадке уже толпилась малышня с санками. Они прокладывали трассу. Сани зарывались в рыхлый снег, карапузы вываливались, барахтаясь, катились под гору.

— Слышал, Гусь пропал, — Арахис вытащил из кармана вязаную шапку шоколадного цвета, натянул на голову до ушей.

Он стал похож на гриб. Крепкий такой боровик.

— Дома сидит, — неуверенно сказал я. — Понятное дело.

— Нету его. Я заходил.

Мы помолчали. Говорить про Гуся не хотелось. Дети визжали, толкались, стараясь съехать вне очереди.

— Река не замерзла, — я ткнул рукой вдаль. — Видишь, на середине серая полоса? Там даже и льда нет, так...

— Ну, там течение какое! — Арахис охотно сменил тему. — Там же летом такие водовороты закручивает...

— Это ведь там Гунявый утонул? Ну да... Его затянуло под камнями — и все дела!

Река стала белой. Снегопад выдохся, сверху сыпалась искристая пыль. Стало светло, казалось вот-вот вынырнет солнце. Латышская сторона, дымчатая и почти сказочная, походила не немецкую рождественскую открытку — костел с крестом, острые крыши, прямой дым из труб.

Вдруг я увидел ее — голую латышку с острова. Узнал моментально, меня как токомшибануло. Арахис что-то мне говорил, я не слышал. Латышка тоже меня узнала, я понял по ее взгляду. Она ухмыльнулась — совсем как тогда, летом, на острове, — поправила лисью шапку и отвернулась. С ней был какой-то клоп, укутанный до глаз в деревенский платок.

— Чиж! — трубил Арахис. — Ну так что, ты согласен?

— Да, да. Да! — Я одобрительно ткнул его в плечо.

И направился к латышке. Она стояла спиной и пыталась усадить ребенка в санки. Куль падал на бок и что-то пищал. Нет-нет, наверняка сестра. Младшая. Или меньшей брат. Лицо горело, в висках что-то упруго стучало. Двигаясь, словно в тягучей воде, будто ленивый линь или сонный карп в магазинном аквариуме, я приблизился к ней. Остановился, под ногами сновали дети и санки. Сквозь гомон и смех внятно слышал свое колотящееся сердце. Что сказать? Как обратиться? Слов не было, я просто протянул к ней руку и тронул за плечо.

За спиной раздался трубный рык. Я обернулся, но отойти не успел. В меня с мощью пушечного ядра вломился Арахис. Я стоял на краю обрыва, и мы вместе рухнули вниз. Понеслись кувыркком под откос.

Снег оказался совсем сухим, глубоким и мягким, как пена, Арахис ревел и хохотал. Мы катились, взрывая белые фонтаны, наверху радостно визжали дети. Падение казалось бесконечным.

— Ты офонарел? — Я выплюнул снег, вытер лицо. — Совсем?

Арахис гоготал, развалившись в сугробе. Я вытряхнул снег из перчаток. Снег залез за воротник, набился в сапоги. Снег умудрился залезть в самые неожиданные места.

— Ты чего, Чиж? — Арахис икнул. И снова заржал.

Когда мы заползли на гору, ее там уже не было. Я огляделся, вскочил на дорогу, тоже пусто. Арахис лез с расспросами, отмахнувшись от него, я зашагал в сторону моста. Настроение испортилось. Мимо меня, меся серый снег, ползли чумазы по самые стекла машины. Тротуар тоже не успели почистить, я шел по протоптанной тропе, иногда ступал в снег, пропуская редких встречных пешеходов. На мне были унты — высокие, по колено, с рыжим собачим мехом. Отцовские, они были чуть велики, может, на размер, полтора. Хотя с толстым шерстяным носком это даже не ощущалось.

Я расстегнул куртку, размотал шарф. Теплело, небо стало перламутровым, должно быть там, на западе, где-то за мутью туч, уже садилось предполагаемое солнце. Я снял шапку и взъерошил потные волосы. Ватные крыши и деревья, высоченные сугробы, круглые, как шары, кусты — все вдруг потускнело, невинная белизна сменилась серым, скучным и грязным, точно наш город кто-то обсыпал пеплом.

...Гуся нашли через два дня. Мы были уверены, что он сбежал в Клайпеду. Он мечтал устроиться матросом на торговый корабль. Ходить за Гибралтар, бросать якорь в Бискайском заливе, пересекать экватор. В белых широких штанах гулять по ночному Сингапуру, ухватив за тонкие талии пару развеселых хохотушек с раскосыми глазами. Гусь был уверен, что сингапурки будут от него без ума — говоря о туземках, он указательным пальцем вытягивал край глаза к виску и складывал губы бантиком.

— В них генетически заложено преклонение перед мужчиной, — убедительно говорил Гусь. — Особенно, в китайках.

— Ты про яблоки? — ехидно встревал Женечка. — Китайки.

— Какая разница! У тебя же, Воронцов, единственный шанс пообщиться к сексуальной культуре востока — потрогать за ляжку Юльку Гаджибекову.

Нашли его в подвале заброшенной часовни. Там же была водочная бутылка, почти пустая, и упаковка из-под димедрола. Но не водка и не снотворное убили Гуся, он просто замерз. Просто замерз во сне.

Арахис высказался еще проще:

— Виноваты мы. Мы могли его спасти. Но не спасли.

— Вряд ли, — Валет пожал плечами. — Ладно, сеанс начинается. Еще билеты надо купить.

И мы пошли в кино. Побросали окурки, придушили их каблуками и по черным ледяным ступенькам поднялись к окошку кассы. Киножурнал только начался, мы взяли в буфете пива. Молча обступили круглый стол на ломкой стальной ноге. По стенам в рамках висели артисты, отретушированные и гладкие, как иконные лики. Пиво было комнатной температуры, а стаканы пахли хозяйственным мылом. Из-за дверей в кинозал доносился бодрый дикторский голос, слов было не разобрать, но интонации подсказывали, какой сюжет сейчас на экране — визит братской делегации, вести из стран социализма или черные будни мира капитала. Незатейливая фортепианная музыка сопровождала комментарии. «Новости дня» закончились, приземистая тетка с мужским лицом распахнула дверь в зал. Мы спешно допили теплое пиво и пошли смотреть кино — французскую комедию. На экране мелькали неуклюжие французы с широкими пестрыми галстуками и соблазнительные француженки — все в мини-юбках. Фильм был смешным, но мы сидели молча, как на похоронах, — наверняка каждый думал о том, что сдохни он, остальные точно так же пошли бы в кино. Выпили бы пива перед сеансом и пошли в зал. Будто ничего не случилось.

Я ушел с середины, когда любовник жены полицейского комиссара, спасаясь от мужа, вылез через балкон на скользкий карниз с голубьями и головокружительным видом на Елисейские поля, Триумфальную арку и еще что-то столь же мифическое и вряд ли существующее в реальной жизни. Мне вдруг стало ясно, причем, с какой-то пугающей очевидностью, что детская наша дружба не просто пришла к концу, а что она умерла, скончалась. Именно скончалась, поскольку в корне этого слова спрятана суть беды. И что по-взрослому мы дружить не умеем, да-да — мы не знаем, как это делать. И те четыре парня, включая моего брата, а, может быть, именно он в первую очередь, сидящие в темноте на последнем ряду, не просто абсолютно чужие — страшнее, мы делим общий секрет, стыдный и мучительный.

Инга. Ин-га. Инга.

У нее оказалось самое красивое имя на свете — Инга. Звон хрустального меча, извлекаемого из серебряных ножен. Аккорд высокого регистра, торжественный ми-мажор, летящий под свод готического костела и там подхватываемый хором ангелов. Ин-н-га-а-а... За бесконечность этого а-а-а можно было заплатить любую цену, даже жизнь отдать за этот божественный звук.

Случилось все таинственно, почти волшебно — господи, да как еще это могло произойти! Мы встретились в новогоднюю ночь — да! — в самые первые часы нового года на льду замерзшей Даугавы под бархатным фиолетовым небом, безумном от россыпи оцепеневших белых звезд.

Вам когда-нибудь доводилось вырваться из дому и пойти неведомо куда, просто шагать, вот так, напропалую, в ночь — без цели, без мыслей, без надежды? Ведь не всегда побег имеет пункт назначения. Тот самый заветный пункт «Б». Иногда суть побега в том, чтобы покинуть пункт «А». Иногда этого вполне достаточно.

Мать заснула перед телевизором под «Голубой огонек». Отец отпросился в Дом офицеров еще до ужина. Валета я не видел с утра.

Я встал, приглушил радостную трескотню в телевизоре, допил шампанское из теплого фужера. Выключил гирлянду на елке. Самые изысканные игрушки, все из Германии — усатый трубочист, Санта-Клаус, выводок румяных Гретхен в кокетливых передниках, все они висели на виду, на верхних ветках. Наши фонарики, кособокие снежинки и убогие колокольчики были спрятаны ближе к стволу, в пахучей чаще за мишурой и серпантином.

Надел куртку, вернулся и заглянул в комнату — мать спала, удивленно приоткрыв рот. Ее правая бровь даже во сне оставалась иронично вздернутой, точно качество демонстрируемых сновидений вызывало у нее какие-то сомнения.

Беззвучными шагами вышел за порог, щелкнул замком. По лестничной площадке, перебивая кошачью вонь, плыл румяный дух печеного гуся с яблоками. Наверху хором топали, испуганно звенела посуда. У Лихачевых всегда гуляли с размахом.

Ночь удивила неподвижностью и равнодушным величием. Полная сизая луна демонстрировала свою скучную географию. На сутробах

лежали лимонные квадраты окон. Набрав полную грудь воздуха, я задрал голову и выдохнул столб пара прямо в звезды. Мне послышался тихий перезвон — должно быть, так в морозном воздухе замерзает мое дыхание.

Было тихо и безлюдно. Праздник переживал апогей застольной фазы — в полночь веселье выпрет на улицу. С шампанским, водкой, с пальбой из табельных ракетниц, с песнями и тостами.

У дальнего подъезда, в желтом конусе фонаря, курили три девчонки, чуть старше меня — в нарядных платьях, с голыми ногами в летних туфлях, одна была уже здорово пьяна. Я узнал Дронову и пошел в другую сторону.

Споро шагая по скрипучему снегу, я погружался в темень — сливался с чернотой, делался ее частью — и снова выныривал в следующей луже света, скупо разлитого уличной лампой. Так — то исчезая, то появляясь — я плыл сквозь ночь. С правой стороны призрачно белело замерзшее озеро, слева чернел парк. За стволами лип, точно разгорающийся пожар, сиял замок. В Доме офицеров гульба шла на всю катушку. Люстры сияли в высоких окнах, свет горел везде — в «Охотничьем зале», «Малиновом», в бильярдной, даже в библиотеке. Музыка громыкала, но вдруг оборвалась — тут же все заплодировали. Раздались крики «ура». Воодушевленный оркестр вжарил с новой мощью. Кто-то азартно запел в микрофон.

Я дошел до реки, оглянулся. Над парком тлело зарево, музыка теперь бубнила, как через подушку. Военный городок остался позади. Позади остались распахнутые кованые ворота с жестяными звездами и пустая караульная будка — контрольно-пропускной пункт гарнизона. КПП. Охрана появлялась там лишь при инспекционных визитах столичных генералов.

С высоты берега замерзшая река казалась идеально плоским полом, уходящим в бесконечность. Луна перекочевала к западу, она висела над ледяной равниной как очень правдоподобный атрибут декорации. Этой ночью, однако, бутафоры явно перестарались — их луна получилась явно лучше настоящей. Уж точно ярче и круглей.

Снег будто светился изнутри, как холодный фосфор на циферблате сероглазовских часов. Тени — ультрамариновые и плотные, в их четкой графике тоже угадывалась какая-то фальшь. И уж совсем театрально выглядел латышский берег — заснеженный костел, острые крыши, дымок из труб, идеально прямыми лентами уплывающий к звездам.

Просто открытка — жемчужный перламутр да фиолетовый бархат — «Приезжайте к нам на Рождество в Баварию». Да, и тут художники перегнули палку — от Кройцбурга до Мюнхена было полторы тысячи километров.

Кстати, выпускники немецких школ архитектуры, при проектировании новых жилых районов, никогда не прокладывают пешеходные дорожки, они просто засевают все травой. Новоселы сами протаптывают нужные им тропики, которые впоследствии покрывают асфальтом или брусчаткой. Интуиция точнее логики, надежней — уж точно.

Прямые, как по линейке, тропинки соединяли наш и латышский берег. Латыши в гарнизон забредали редко, следовательно, тропы были славянского происхождения. Тропинок было три. На нашей стороне, начинаясь из одной точки, они расходились лучами к противоположному берегу.

Самая протоптанная, широкая дорожка вела напрямик к костелу. Голенастая, как цапля, тощая колокольня белела на круче, втыкая стальную иглу в ночное небо. За неимением в округе православного Христа, жены летчиков ставили свечи католическому спасителю — чего уж там на безрыбье-то? Иисус — он и в Африке Иисус.

Свечи ставили перед боевыми учениями, перед испытанием новых машин и компонентов, перед ночными полетами. Приходили тайком, надвинув платки на глаза, подняв воротники до носа. Ставили свечи за своих безбожников-атеистов, красных соколов, а после на коленях в темном углу бормотали: да будет воля твоя, Господь, мой Бог, направь шаги наши и обереги от напасти, пошли благословение и милосердие ныне и присно и во веки веков — аминь!

Вторая тропа вела к ликеро-водочной лавке. Винный отдел имелся и у нас, в военторге. Но всем было известно, что сведения о приобретении алкогольных напитков крепостью выше тридцати градусов, педантично фиксируются завмагом Риммой Павловной, рыжей кубышкой с конопатой грудью необъятных размеров в глубоком декольте белого халата, и передаются напрямик Женечкиному папаше, начальнику особого отдела майору Воронцову. Явно цитируя отца, Женечка весомо отпуская: «Полезной информации много не бывает».

Куда вела третья тропа я не знал. Куда-то на латышскую сторону, на самую окраину города.

Хмель от шампанского выветрился, оставив во рту леденцовый привкус и необъяснимую грусть где-то под горлом. Удивительно,

но я с точностью мог определить местонахождение этого странного чувства.

Некоторое время я стоял на взгорье, разглядывая странный радужный круг, что сиял ореолом вокруг луны. Протер кулаками глаза, пытаюсь понять — мерещится мне это сияние или я действительно стал свидетелем какого-то космического явления. Зажмурился, потом открыл глаза. Радуга не исчезла.

Спуск к реке был раскатан санями и подошвами до стального блеска. Загадав, что если мне удастся скатиться на ногах и не упасть, то все будет хорошо — что именно, уточнять не стал даже мысленно, — я разбежался и, раскинув руки как крылья, понесся вниз. Спуск с горы целиком зависит от уверенности в себе. Падение — результат твоего страха. Почти всегда. Почти — лед на излете горы был протерт до песка, — и я, на всей скорости влетев на плешь, чуть не грохнулся. В последний момент грациозное скольжение сменилось неуклюжим бегом. Но главное — я остался на ногах. Значит, все будет хорошо.

Третья тропа вела на самую окраину, там начинались заброшенные сады. Дальше, за Змеиным ручьем, где сгоревшая мельница, лежало клеверное поле. Поле упиралось в сосновый бор. Через поле, через бор, мы летом добирались до озера Лаури — большого лесного озера с белым песком и ледяными ключами. Вода в нем прозрачна, как стекло. В конце войны туда упал сбитый «мессершмит», в солнечный день силуэт самолета и сегодня можно разглядеть на дне. Мы мерили — глубина там тридцать метров. Так что без акваланга не донырнуть. На берегу озера стоит хутор, где живет старик Эдвард с двумя злыми волкодавами. У старика все лицо в шрамах — говорят, от пыток. То ли это немцы его так, то ли наши. А может, лесные братья — те вообще зверьем были, знали, что всем им крышка, вот и лютовали под конец. К слову, последнюю банду в нашей округе ликвидировали как раз в год моего рождения. Шестнадцать лет назад.

Я выбрал третью тропу. Даже не выбрал — просто пошел. Моя смешная тень бодрым карликом шагала справа. Радужный нимб вокруг луны куда-то исчез, да и сама луна стала как-то меньше, будто сдулась. На той стороне я заметил человека, фигурка двигалась навстречу по моей тропе.

Мы встретились на середине реки. Узнал ее я издали, ту рыжую лисью шапку, что видел на горе. Странно, но я даже не очень удивился. Похоже, она тоже. Прежде чем мне пришло в голову, что сказать,

она подняла руку в толстой варежке. И махнула — привет. Это были белые варежки, грубой деревенской вязки.

— Привет! — ответил я, отступая в снег.

Не сбавляя ходу, она прошла мимо. Мельком взглянув на меня, зашагала дальше к нашему берегу. Я догнал ее.

— Погоди, — поймал ее за рукав.

Она повернулась, оглянулась без удивления или испуга. Как тогда летом, на острове. Те же глаза — насмешливые ледышки.

— Погоди... — повторил я.

На этом мои слова кончились. Зря, эх, зря я вспомнил про лето! Я стоял с раскрытым ртом, чувствуя, как разгорается мое лицо: все румяные изгибы ее тела, невинный загар бесстыжих ляжек, даже тот тайный знак — изумрудный зигзаг на ноге, — все отпечаталось в моей памяти с подробностями профессиональной фотографии. Даже та зеленая молния...

Она усмехнулась — она наверняка тоже вспомнила остров. Я смутился еще сильнее. Нужно немедленно что-то сказать, иначе она снова уйдет. Но что? Что?

— Как тебя зовут? — спросил я.

Она варежкой поправила шапку, разлапистая ушанка была ей явно велика. Такими торговали латыши-браконьеры, называя их на финский манер «турмалайками». Потом, нагнувшись, рукой написала на снегу четыре буквы. Четыре заглавных буквы латинского алфавита.

— Ин-га... — прочитал я.

Она кивнула.

— Ты что — немая? — Смешок вырвался у меня раньше, чем жуткая догадка дошла до мозга. Господи, она ж немая!

Инга кивнула, она не смутилась, а с вызовом посмотрела мне в глаза — мол, ну и что теперь ты будешь делать?

Страна чудес, тот уютный мирок, что я навывдумывал себе с того летнего дня на острове — отчасти романтический, отчасти эротический, — эклектически составленный из невнятного опыта, смелых фантазий и стыдных сновидений, из мелких букв Мопассана, схематических картинок из медицинской энциклопедии, из киношных страстей, в основном, франко-итальянского происхождения, где с треском рвались брюссельские кружева и сталью звенели шпоры, а усатые красавцы бросались на сомлевших женщин, не успев отстегнуть даже шпагу, — этот мир начал стремительно рассыпаться.

В моих фантазиях моя латышка, может, и не имела имени, но у нее был голос. В том, моем, мире, где все было дозволено, она говорила. Может, и с акцентом, но слова! Страстный шепот в самое ухо, ласковые просьбы и непристойные требования, жаркие вскрики, зыбкие стоны... А тут, господи, — немая!

Она махнула варежкой: ну, мол, пока, — и зашагала к нашему берегу в сторону гарнизона. Я стоял ошарашенный, потом бросился за ней. Догнав, схватил за локоть.

— Можно с тобой?

Она пожала плечом. Даже не кивнула — просто безразлично пожала плечом.

Идти рядом по узкой тропе было сложно, я семенял сзади, а то, оступаясь, проваливался в глубокий снег обочины. А она не сбавляла шаг. Изредка поворачивалась. Еще реже улыбалась. Да что там — один раз усмеялась, и все.

Я же говорил без конца. Болтал без остановки. Отчего-то казалось, что так проще — должно быть, я пытался заполнить пустоту за нас обоих. Пустоты было хоть отбавляй — бесконечная гладь ледяной реки, чернота бездонного неба, фиолетовая дыра в моей душе размером со вселенную.

Одновременно пытался вспомнить, что мне известно про немоту. Что? — да почти ничего. Бывает врожденная, бывает следствием травмы или болезни. А вдруг у нее языка нет? Отрезал какой-нибудь маньяк. Нет, это уже дичь полная. Или сама случайно откусила? Тоже бред. Я попытался припомнить, видел ли я язык во рту. При этом без передышки тараторил что-то про школу, что собираюсь после экзаменов сразу в Ригу, что буду поступать в текстильный на художественно-декоративное отделение. Наверняка провалюсь, но в армию меня не заберут по возрасту, а уж на следующий год...

Она снова обернулась и кивнула. По крайней мере, не глухая — уже плюс.

Вдруг на том берегу полыхнуло. Над черной копной парка вспыхнул фейерверк — и тут же до нас долетел грохот пушечного выстрела. Огни — красные, синие, несколько изумрудных шаров, — плюясь искрами, раскрылись в небе. Расцвели, точно пламенные цветы и, достигнув апогея, зависли. Трещали они так, будто кто-то ломал сухой хворост. Снежное поле перед нами окрасилось радугой. Оно ожило — красный перетекал в синий, становясь сиреневым, к нему добавлялись малиновый, пурпурный, темно-фиолетовый.

Мы стояли, замерев, смотрели на цветное чудо. Грохнул еще залп и еще один. До меня дошло — это ж Новый год пришел. Инга смотрела не отрываясь, точно пытаюсь запомнить все мелочи. По ее лицу бродили цветные тени, а там, за парком, откуда стреляли, показался дым. Он вылез мохнатой головой из-за деревьев, поднялся над замком, словно разбуженный Зевс. После расправил плечи и, загородив часть Млечного пути, торжественно двинулся на север.

Бухнул последний залп. Эхо откликнулось и гулко покатило вдале по льду реки в сторону Крустпилса. Рыжие искры погасли, не коснувшись макушек деревьев. От канонады в ушах чуть звенело. А может, это звенело в голове, не знаю, только я, осмелев, придвинулся к Инге и, проговорив скороговоркой «С Новым годом!», быстро поцеловал ее в щеку. Поцелуй? Куда там — примерно так куры клюют зерно.

От ее взгляда мне стало нехорошо. Ледяные стекляшки с черными дробинами зрачков. Думал — сейчас вlepит пощечину, именно так на подобные выходки реагировали нервные маркизы во франко-итальянском кино. Уверен — такой вариант тоже промелькнул в ее голове. Обеими руками она ухватила меня за воротник — резко, по-мужски, — так обычно начинается хорошая драка, сразу за этим следует зубодробительный прямой в челюсть. Однако, Инга поступила иначе. Она поцеловала меня.

Поцеловала? Все мои сведения на тему поцелуев — практические, теоретические и мечтательно-фантазийные — оказались не то что бледными или неполными, они оказались не про то... В них отсутствовала квинтэссенция поцелуя. Его главная суть. Как черно-белая фотография витражной розы в соборе не имеет цвета, как описание персика в учебнике ботаники не в силах передать аромат и сочность плода, как пересказ словами маленькой ночной серенады Моцарта глухо и немо, как ...

Да, и к слову, — язык у Инги точно был на месте.

8

Мы начали встречаться — таким, кажется, глаголом обозначают мучительный процесс восхитительного познания друг друга. Теперь мое существо — душа, тело, внутренности, включая сердце и нервную систему, — металась между беспросветным отчаянием и сумасшедшим восторгом. Путь из рая в ад и обратно оказался короче одного взгляда

да. Улыбка или вскинутая бровь — в один миг мускулистые амурсы безжалостно швыряли меня в бездну, кишашую бесами. Обратный взлет из геенны к облакам был столь же стремителен. Да — поцелуй, невинный чмок в щеку, — безотказно открывал сияющие врата. За день такое путешествие совершалось не один раз.

Страшны были и пустые лиловые ночи — с какой легкостью моя фантазия могла выворачивать наизнанку целую вселенную! Ничуть не хуже прожженного иллюзиониста-гастролера, который звонким щелчком пальцев превращает белоснежный цилиндр в черный, стальной меч в змею, а колоду карт в стаю голубей. Чудесное превращалось в чудовищное в моем ночном мире элементарно и порой даже, как мне казалось, без моего участия. Я просто дрейфовал, уплывая все дальше в этот странный, страшный, безумный мир.

Плюс (скорее, минус) — встречались мы тайком. Об Инге не знал никто из моих приятелей. Разумеется, ни отец, ни мать. Валет был последним человеком, которому бы я рассказал о ней. Мы встречались в странных местах — на кладбище, в костеле, на автобусной станции, на вокзале. Мы избегали людей или пытались смешаться с толпой. Брели меж заснеженных надгробий, толстых, как вдовьи перины, или мерзли на продутом насквозь перроне под надрывный вой уходящих поездов.

А то забирались вглубь мертвого парка и там целовались до одури. Наивная неумелость моя компенсировалась прытью. Я впивался в ее жаркую шею, словно пытался высосать яд из змеиного укуса. Потный лисий мех лез в рот, натертые щеки пылали, несмелая, но упрямая рука моя пробиралась под шубу, под свитер, под какие-то нежные тряпки и там, на самом подходе к пульсирующей цели, непременно натыкалась на ее руку. Холодные и цепкие пальцы ловили мое запястье. Что, если честно, даже успокаивало — не останови меня Инга, я бы просто не знал, что там делать. Над головой в голых ветвях галдели вороны, еще выше синело ледяное небо. Домой я возвращался тихий и шальной, точно пьяный, с обкусанными в кровь губами и горящим лицом.

Немота Инги меня не тяготила. Наоборот, немота делала мою латышку особенной, а отношения наши еще таинственней и романтичней. Язык ее жестов, ее взглядов оказался вполне понятным, я же мог говорить не переставая. Еще мне льстило — в чем я бы не признался даже себе, — ощущение собственного благородства: ощущал себя почти герцогом, который планирует обвенчаться с сироткой.

Через недели три Инга знала обо мне все. В подробностях и деталях — я не скрывал ничего. Даже глупые мелочи, вроде соловьиного скрипа протеза моего давно покойного деда-генерала. Или волшебного запаха бабкиных фирменных роголиков из песочного теста с ореховой начинкой.

Каюсь, я не очень был справедлив к брату, наша вражда в моей интерпретации приобретала мощь и размах эпической саги. Сам Валет представлял если не мрачным злодеем, то уж по крайней мере хладнокровным негодяем, лишенным целого ряда человеческих качеств. Отцу тоже досталось — его жизнелюбие, слегка мной приукрашенное, сделало его похожим на развеселого гусара, страдающего от инфантильного нарциссизма. Бильярды-карамболи, сигаретки с золотым ободком из Москвы, пьянки с друзьями-пилотами, зеркальные сапоги, мотоцикл, привезенный из Германии... Каюсь, каюсь.

Единственный человек, о ком я говорил мало, была моя мать. Я действительно ощущал вину перед ней. Даже не вину — боль пополам с жалостью. Горечь, вроде неистребимого привкуса во рту. И не из-за обвинений Валета, не из-за хмурых отцовских глаз, даже не из-за ее, моей матери, тягостного немугословия, нет, та боль сидела занозой где-то глубоко, та жалость стала частью моего естества. Наверное, с этой отравой внутри я появился на свет — если такое возможно.

Лопуховое поле лежало на отшибе, между замком и бетонкой к аэродрому. Вдоль бетонки тянулись заброшенные огороды. Летом там попадалась морковь, и можно было накопать картошки для костра, а зимой огороды и поле превращались в скучную снежную пустошь, в центре которой торчала заколоченная часовня.

Именно там, в этой часовне, и нашли Гуся. Пацаны, игравшие неподалеку, заметили сбитый замок на дверях и забрались внутрь. Часовня считалась самой древней постройкой в Кройцбурге. Ее заложил Рижский архиепископ, над дверью можно разглядеть мраморный герб со скрещенными мечами и рогатым шлемом, как у псов-рыцарей из фильма «Александр Невский». Под гербом готическими цифрами выбит год —1347.

По слухам — так, кажется, пишут в провинциальных путеводителях — по слухам, часовня соединяется с замком подземным ходом. Расстояние тут приличное, к тому же пришлось бы копать под замковым прудом. Не то чтобы пруд был глубокий, метра три, думаю, три с половиной. Летом

мы с лодки ловили там карасей. Караси шли на хлеб, а если накопать червей, то запросто можно было взять и приличного линя.

Пару лет назад наша компания пыталась исследовать подземный ход — вооружившись фонарями, лопатами, шустрый Женечка Воронцов раздобыл даже где-то ржавую кирку, — мы сорвали замок и пробрались внутрь. Больше всего нас интересовала замурованная баронесса. По преданию — выражение из того же путеводителя — лет двести тому назад тогдашний хозяин замка, барон с немецкой фамилией — то ли фон Виттеншлоссер, то ли фон Виттенглоссер, приказал замуровать в одной из келий подземелья свою неверную жену. Ее любовника барон, якобы, заколол прямо на обесчещенном брачном ложе, а развратницу, снабдив едой и питьем, отвел в подземелье и там приказал каменщикам замуровать дверь. Блудница, согласно легенде, оказалась на редкость живучей. Вой и плач доносился из-под земли несколько лет. Говорят, она и сейчас бродит по подземелью, иногда появляясь на поверхности в виде костлявой старухи в ночной рубашке с венком из репейника на голове. Сам я, разумеется, не очень верил в эту дичь, но Арахис клялся, что как-то ночью видел мерцающий женский силуэт, бредущий по пруду от часовни в сторону замка.

В углу часовни действительно были люк и винтовая лестница. Оттуда несло как из погреба — тухлятиной и сыростью. Мы спустились в подвал, из подвала строго на север уходил черный коридор. Свет фонарика освещал лишь первые метров десять подземелья, дальше сгушался непроницаемый мрак. Мы замешкались. Низкий и узкий коридор, выложенный скользким булыжником, шел под уклон. Пологие ступени были грубо вырублены в сером известняке. Пока мы спорили, кто будет главным и кто за кем должен идти, нагрянул гарнизонный патруль. Нас накрыли и доставили к командиру части полковнику Полуэктову. В штаб везли в крытом грузовике с двумя автоматчиками. Выдал нас сосед Борька Куцый, которого мы не взяли с собой по причине малолетства. (см.44)

Историю эту я рассказывал Инге, пока мы пробирались по заснеженному полю к часовне. Девственный снег был легок и сыпуч, местами доходил нам до колен. С реки дул ветер, волнами гнал поземку по снежному насту. На крыше часовни пышным пирогом сидела белая шапка, у стен за зиму выросли сугробы метровой глубины.

— Мы забирались на крышу и прыгали в снег. В детстве, — я хлопал перчаткой по грубой каменной кладке стены. — Вот тут кам-

ни выступают, видишь? Ногу сюда — после цепляешься за решетку, подтягиваешься. Снизу кажется просто, а когда на крыше стоишь...

Действительно, прыгать было страшновато. Вроде ерунда — не выше второго этажа, но то ли белый цвет дистанцию как-то увеличивал, то ли пустота зимнего поля пугала — не знаю.

Инга взглянула вверх, подошла. Ухватилась за выступающий камень, легко подтянулась.

— Ты серьезно?

Она оглянулась и кивнула. Дотянулась до кованой решетки стрельчатого окна, бойко, по-матросски, вскарабкалась. Уцепилась за край крыши, повисла.

— Осторожней там! — Я встал под ней, страхуя, подставил руки.

Инга без особого усилия подтянулась, закинула ногу. Коленкой сшибла снежную шапку с края крыши. Белая коврига сорвалась и с тихим «ох» рухнула в сугроб. Снежная пыль засыпала мне глаза. Я вытер мокрое лицо перчаткой.

Инга уже стояла на крыше, оперев кулаки в бедра, она оглядывала округу и улыбалась. Улыбка предназначалась не мне — увы-увы, но любуясь ей, я тоже невольно улыбнулся. Латышка сняла шапку, точно ей было жарко, только сейчас я обратил внимание, как отросли ее волосы с того летнего дня на острове. Господи, как это все устроено? Комок подступил к горлу — ведь я мог запросто никогда не встретить ее! Замысловатое переплетение случайностей, зло, рождающее вот такую радость, — ведь не будь Валета в тот день на понтоне, я бы не уплыл на остров. Нет, я продолжал бы нырять, стараясь крутануть полное сальто.

— Прыгай! — Я махнул рукой и отошел к сугробу. — Сюда!

Она прыгнула. Оттолкнувшись от края крыши и раскинув руки — в правой ушанка, точно рыжий факел. Приземлилась точно в сугроб. Я подбежал, рухнул, хохоча, рядом в снег. Обхватил ее, повалил, пытаюсь найти губы. Она застонала. Я все еще смеялся по инерции. Инга согнулась; поджав ногу, она обхватила руками лодыжку.

— Что? Что? — я тормозил ее. — Что там?

Она подняла лицо, белое, с серой полоской губ.

— Нога... — отчетливо произнесла она. — Кажется... я сломала...

Я отпрянул, ошалело уставился на нее.

— Ты ж немая! — чуть ли не возмущенно крикнул я.

— Нет. Я нет.

Она говорила с прибалтийским акцентом, обычным для латышей. Но что-то еще в речи Инги показалось мне странным — какая-то усердность, что ли. Она выговаривала каждое слово, отчетливо произнося каждую букву. Словно только что научилась говорить.

— Может, вывих? — растерянно спросил я. — Надо сапог снять.

Барахтаясь, мы выползли из сугроба. Я попытался поднять ее, но не удержался, и мы снова рухнули в снег. Ветер крепчал, колючая крупа летела в лицо. Поземка неслась волнами, закручивалась в спирали. Словно миниатюрные смерчи-торнадо, они, кривляясь, лениво гуляли по полю. Небо стало молочно-серым, белесая муть накрыла всю округу. Башни замка и парк за ними проступали неясным силуэтом, расплывчато, точно картина сквозь папиросную бумагу. Начиналась метель.

Со второй попытки мне удалось поднять Ингу. Она больше не говорила, тихо прижавшись, обхватила меня за шею. Я выпрямился. Стараясь удержать равновесие, сделал шаг. Здорово мешал снег, он забивался в сапоги и там цинично таял. Носки промокли насквозь и стали ледяными. Я проваливался по колено, вытягивал ногу и делал шаг. И проваливался снова. Инга оказалась на редкость тяжелой девчонкой.

— Вывих... Надо сапог снять, — бормотал и тащил ее дальше. — Может, просто вывих.

До моего дома от часовни всего минут десять. Правда, летом и бегом. Или вприпрыжку — кто ж будет степенно прогуливаться через Лопуховое поле? Наша трехэтажка, дом летного состава, страшноватая, красного кирпича постройка под рыжей черепичной крышей — на вид нечто среднее между казарменным бараком и баварским коттеджем — маячила сквозь пургу на горе. Чуть дальше стоял дом-близнец, там жили технари. Командный состав обитал в финских домиках, расположились по берегу пруда.

Я молил бога, чтобы Валета не было дома. Отец появится только к шести. А то и позже, если заедет в Дом офицеров — «погонять шары с ребятами». Дома должна быть только мать. Потому что она всегда дома.

Удивительно, но я не испытывал привычного чувства — невыносимой смеси боли и стыда. Чувства, неизменно возникавшего в присутствии моей матери и кого-нибудь из посторонних. Я неизменно краснел, как круто сваренный рак. Тут же начинал суетиться, много говорил, словно пытался отвлечь внимание на себя. Словно можно было отвлечь их внимание. В их глазах тут же появлялась жалость,

потом брезгливость. Потом снова жалость. Брезгливость и жалость — вот что я видел в их глазах.

Тихо проникнуть в квартиру нам не удалось. Входная дверь грохнула, из угла с треском посыпались лыжи и палки.

— Валечка! — послышалось тут же из родительской спальни. — Это ты?

— Нет, мама! Я это.

На этой фразе мои силы иссякли. Потеряв равновесие, мы с Ингой упали. На лету я зацепился за вешалку, на нас рухнули шапки и пальто. Из коридора слышались шаркающие шаги, и на пороге прихожей возникла моя мать. Ветхий халат сиротской расцветки, страшные волосы, вскинутая бровь. Тюремные тапки. Желтоватые, парафиновые икры. Но мне было уже все равно.

— Это Инга, — устало представил я. — Она ногу сломала.

— Как?! — У матери полезла на лоб вторая бровь.

Нам удалось стянуть сапог. Инга, закусив нижнюю губу, морщилась, но не издала и писка. Сняли носок, лодыжка зловеще опухла и налилась малиновым.

— Лед, — проговорила мать, осторожными пальцами ощупывая ногу. — Лед нужен. Тут больно?

— Нет, — Инга отрицательно помотала головой. — Не сильно.

— Лед принеси, Чиж! — потребовала мать, продолжая исследовать ногу. — А тут? Тут больно?

— Нет.

Я выскочил из подъезда, долбанул ногой по водосточной трубе. Оттуда с грохотом посыпался лед. Я собрал ледышки в охапку, вернулся, высыпал на пол перед матерью.

— Пакет полиэтиленовый! — приказала она.

— Где?

— На кухне!

Потом я бегал за полотенцем, за бинтами, которых не нашлось. Бинты заменили розовой марлей, которой давили клюкву для морса. Мать приладила компресс, застегнула английской булавкой концы марли.

— Перелома нет, — сказала. — Потянула связки. Ничего страшного. Нужно было сразу лед, чтобы предотвратить опухоль.

— Мама медицинский кончала, — зачем-то встрял я.

— Когда это было... — взглянула на меня, потом на Ингу. — А ты вместе с моими учишься? В одном классе?

Инга снова отрицательно помотала головой.

— А-а-а,— протянула мать, точно поняв что-то.

Тут распахнулась входная дверь и в прихожую, топя унтами и хлопая рукавицами, ввалился отец. Он был белым, точно его покрасили из распылителя с ног до головы. Целиком, включая лицо.

— Ну, метет! Настоящий доннер веттер! Видимость — три нуля! — Он бодро снял мотоциклетные очки и стал похож на енота. — А что у нас тут случилось? Погром?

Мы втроем сидели на полу прихожей. Вокруг, в лужицах растаявшего льда, валялись обрывки полиэтиленовых пакетов, куски марли, ваты, лыжные палки, скомканные пальто, куртки и шапки.

— Сережа,— мать укоризненно поджала губы.— В такую погоду? Ты же обещал...

— Маруся,— отец сбросил краги на пол, сложил ладошки молитвенно.— Клянусь! Димка хотел подбросить, а я — туда-сюда — сама понимаешь. Закрутился! А тут свистуны мряку с молоком кинули, кресты запалили — колеса в землю... Мишка Куцый блуданул, представляешь, на лампочках едва вытянул. Я пока своим ЦУ выдавал...

Он говорил своей обычной скороговоркой, посмеиваясь и шутливо щурясь.

— Ну и вот...— Он запнулся, серьезным голосом добавил: — А дорога, Маруся, дорога вполне приличная, кстати. Почти не ведет. Только... только вот не видно ни хрена! На ощупь едешь!

Отец захохотал, вдруг осекся.

— А кто эта прелестная фройляйн? И что происходит с ее ногой? Это мой оболтус травмировал вас?

— Это Инга, папа.

— Да я вижу, что не Дуся,— он снова хохотнул довольно.— Вы с моими прохвостами учитеесь?

— Сережа!

— Прохвосты — пусть девушка знает! Лентяи и обормоты! Особенно этот — художник...

— Пап...

Я почувствовал, как мое лицо начинает краснеть.

— Корнет Краевский, доложить обстановку! — гаркнул батя, он явно вошел в раж и теперь его уже было не остановить.— Что и как? А главное — почему?

Только тут до меня дошло, что отец навеселе. Подшофе — как он называл это состояние. Мать тоже заметила. Она устало поднялась и, шаркая тапками, направилась в спальню. Отец сник. Погас, будто выключили ток. Проводил ее взглядом, повернулся к Инге и спросил:

— Ты где живешь? На той стороне?

Она кивнула.

— На мотоцикле не боишься?

— Нет.

— Чиж, помоги барышне встать.

9

В то утро даже снег скрипел по-особенному. Инга шагала рядом, тесно прижавшись. Она все еще прихрамывала и держалась за мой локоть. Никогда не думал, что ощущение чьих-то пальцев на предплечье может привести меня в состояние такого умильного экстаза. Наверное, я даже улыбался.

Школу отменили — мороз под утро опустился ниже тридцати. Пустое небо холодно синело кобальтом. Голые липы блестели хрупкими ветками, точно деревья были выкованы из сияющей стали. За липами пряталось низкое солнце, снайперски пуляя в нас острыми лучами. Было очень тихо. Шарф Инги от ее дыхания оброс мохнатым инеем. На ресницах тоже белел иней.

— Такая кличка. Обидно... — С каждой фразой сквозь ее шарф вырывалось белое облако, похожее на папиросный дым. — Вот я перестала совсем. Не говорила. Стыдно... как это, когда стыдно?

— Стеснялась? — подсказал я.

— Стеснялась. Меня оставили на второй год.

— А из-за чего? — спросил я. — Когда это началось?

Инга пожала плечом. Лисья шапка, надвинутая до самых бровей, поседела от инея.

— Маленькая совсем была... — Она замолчала, потом продолжила: — Испугалась. Испуг сильный. От такого произошло. Дедушка отвез в Даугавпилс, там больница такая. Они лечат.

— Как лечат? Чем? Уколы? Таблетки?

— Нет. Упражнения разные. Музыка громко заводят, заставляют говорить еще громче. Стихи тоже. Трудно очень.

Снег сверкал, точно был посыпан дробленным стеклом. Наши тощие длинные тени смешно, будто передразнивая, плелись сбоку. Они были ярко-сиреневого цвета.

— А чего ты испугалась? Ну, тогда...

Инга не ответила, ее крепкие пальцы сжали мой локоть. Мы шли молча, потом она сказала:

— Мама добрая твоя. И красивая тоже. Спасибо говори ей, ладно? Я удивился, но кивнул.

— Ладно. А папаша как тебе?

Она кивнула. Все было очень хорошо. Мимо изредка проплывали хрупкие на вид и седые от инея автомобили. Шоферы не гнали, похоже, они сами не верили, что в такой мороз можно ездить. А может, никаких шоферов в кабинах и не было. Все окна были выбелены инеем. Урча прополз автобус — слепой корабль-призрак, плывущий из ниоткуда в никуда. Из выхлопной трубы валил густой белый дым. Он тяжело лип к сизому асфальту как утренний туман.

Нас обгоняли редкие прохожие. Энергично скрипя подошвами, с паровозной прытью пешеходы выпускали клубы пара, который тянулся за ними белыми шлейфами. Все было очень хорошо. Все было просто прекрасно — мы не таясь шли по главной улице Кройцбурга. Инга прижималась ко мне, она крепко держала меня за руку. Мы больше не прятались.

— А тебя почему так зовут? — спросила Инга. — Такая птица?

— Птичка, скорей. Пташка. Знаешь песенку: Чижик-пыжик, где ты был?

Я пропел до конца. Инга засмеялась:

— А почему он водку выпил? Из фонтана?

— Фонтанка! Речка такая, — я тоже засмеялся.

Поразительно, как у нас любая мелочь — глупость и ерунда даже, вроде этого стишка, — превращались таинственным, каким-то почти алхимическим, манером в радость самой звонкой пробы. В счастье почти.

— А мне нравится, — Инга перестала смеяться. — Чиж...

Она словно пробовала слово на вкус. Потом, приблизив лицо к моему, тихо сказала:

— Чиж... Знаешь, Чиж, я бы никогда не поверила, что буду с русским. Вот как мы с тобой. Тем более, оттуда...

Она кивнула в сторону замка и военного городка. Я не совсем понял, что она хотела сказать — русский, из военной семьи? Мне лично

было совершенно наплевать на ее национальность, социальный статус, религиозную принадлежность, группу крови и прочую ахиною.

Я протиснулся к ее губам, мокрым и горячим. Колючий шарф мешал и лез в рот, от него пахло сырой собачьей шерстью. Инга рывком сдернула шарф. Она сжала ладонками мое лицо. Приоткрыла рот, точно сильно хотела пить. Ее ушанка медленно сползла назад и упала в снег. Мимо скрипели чьи-то шаги, шуршали шины автомобилей. Кто-то, проходя мимо, игриво присвистнул — мол, во дают, да еще в такой мороз.

10

Дежурный, строгий молодой солдатик с огромными розовыми ушами, сверился с какой-то бумагой на столе и направил меня на второй этаж. Лестницу только помыли, мокрые ступеньки блестели и воняли тухлой тряпкой. Коридор заканчивался окном, там, на красной тумбе, белел бюст Ленина. Круглый череп блестел и напоминал каменный шар. Я шел мимо закрытых дверей с таинственными табличками «Заместитель по ИАС», «ТЭЧ», «Инженер по АО». Нужная дверь оказалась последней. Я взглянул в гипсовые глаза вождя и постучал.

Майор Воронцов, стройный, с нежным румянцем на щеках, напоминал переодетую женщину. Указав мне на колченогий стул в центре кабинета, сам присел на край письменного стола. Тронул пальцами тугой зачес, ловко закинул ногу на ногу. Сапоги его сияли, как лакированные. С минуту он молча разглядывал меня, то ли улыбаясь, то ли усмехаясь. За окном висели мощные сосульки. С них капало. Одна, кособокая, напоминала крыло ангела. Майор щелчком сбил что-то с коленки.

— Краевский... — выдохнул он с каким-то плотоядным удовольствием. — Поговорим?

Он подмигнул. Я чуть было не подмигнул в ответ.

— Да, — ответил простодушно.

Я действительно понятия не имел, что ему от меня нужно. Пристроил ладони на коленях, покорно, точно инок, и стал ждать. Майор дотянулся до портсигара — серебряная штукавина с каким-то рыцарским гербом лежала поверх стопки бумаг.

— Куда после школы? Поступать куда или в армию? — Он щелкнул, портсигар открылся. Внутри он был позолочен.

— В текстильный. На художественно-промышленный.

— Вот как... — Майор достал папиросу, дунул — словно в свисток — и, ловко сложив мундштук гармошкой, сунул в рот. — Это где?

— В Риге.

— Вот как...

Он чиркнул спичкой, пламя поднес к папиросе. Затянулся, горелую спичку сунул в коробок. Выпустил дым. Его движения — лаконичные и изящные — напоминали пантомиму. Ладный и ловкий, точно танцор, казалось, вот-вот он выдаст какое-нибудь па или бойко отобьет чечетку. Я отвел глаза, боясь рассмеяться, — уж очень майор походил на Женечку, верней, конечно, это Женечка походил на майора. Сходство было комичным и слегка жутким, будто мне ни с того ни с сего вдруг показали моего приятеля, состарившимся на тридцать лет.

Вся стена от пола до потолка была заставлена папками. Деревянные полки кто-то явно смастерил под их размер — папки идеально входили по глубине и по высоте, оставляя сверху лишь зазор для пальца. На корешках белели приклеенные бумажные бирки.

На противоположной стене висела большая карта Кройцбурга и окрестностей. Какие-то места были помечены красным карандашом. Жирный красный крест стоял у озера Лаури, в том самом месте, где мы обычно ловили раков.

Неожиданно что-то заскрежетало, сосульки всей обоей рухнули вниз. Майор вздрогнул, резко повернулся к окну.

— Значит, текстильный... — Он брезгливым пальцем стряхнул пепел в фарфоровую пепельницу в виде сердца, которое, словно тачку, толкал пузатый купидон. — Будешь, значит, горошек рисовать на трусах. Кружавчики примастыривать. Ясно... А брат?

— Он в Оренбургское летное поступает, на военно-морской.

— Ор-Бу — отлично! Авианосцы — будущее армии! У вас же и дед генерал?

— Был.

Майор соскочил со стола, пружинисто прошелся по кабинету. Остановившись у полки, вытянул одну папку. Развязал тесемки, раскрыл. Внимательно начал перебирать листы, иногда задерживаясь и вытягивая губы уточкой, словно собираясь кого-то поцеловать. За окном в жесть подоконника стучали капли с кры-

ши. Снег таял. Небо, цвета солдатского сукна, казалось грязным и шершавым.

— Ага...— Майор нашел нужную бумагу, начал читать.— В 1927 году была создана группа «Огненный крест», переименованная в 1933 году в Объединение латышского народа «Перконкруст» («Громовой крест»). К осени 1934 года она насчитывала в своих рядах около пяти тысяч человек. «Перконкруст» представлял собой радикальную националистическую организацию, выступавшую за концентрацию всей политической власти в руках латышей...

Держа папку в руках, он вернулся к столу. Затянулся, выпустил дым и с чувством придушил окурок в фарфоровом сердце.

— Пятого июля 1941 года руководитель «Перконкруста» Гунар Цельминьш, уже получивший к тому времени звание зондерфюрера, призвал латышей вступить в добровольную «команду безопасности», которой руководил Карл Кронвальдс, бывший капрал латвийской армии, на момент формирования отряда возглавлявший всю полицию Латгальской области.

Майор не спеша читал вслух, он снова устроился на краю стола. Я подался вперед, пытаясь разобрать надпись на папке.

— Десятого февраля 1943 года Адольф Гитлер подписал приказ о создании добровольческого латышского легиона СС как единой боевой единицы. Вступавшие в легион лица приносили присягу лично Гитлеру.

Майор поднял на меня глаза. Вынул из папки другой документ.

— В марте 1943 года на основе Второй механизированной бригады СС была создана карательная дивизия «Латгалия», подчинявшийся непосредственно Карлу Кронвальдсу...

Он отложил бумагу, достал другой листок. Фиолетовая печать проступала на обратной стороне.

— А вот приказ о присвоении Карлу Кронвальдсу звания штурмбанфюрера СС...

— Зачем вы мне...

— Погоди-погоди, Краевский. Все поймешь...

Я уже начал понимать. Пожал плечами, повернулся к окну. Грязное небо порвалось и в прорехе мелькнула невероятная синь. Вспыхнула и погасла. Небо стало еще серее.

— Части и подразделения Латышского легиона СС не только участвовали в боях с Красной Армией, но и использовались командо-

ванием СС для проведения массовых расстрелов, осуществления карательных операций против партизан и мирного населения на территориях Латвии.

Майор сделал паузу. Я продолжал смотреть в окно. Боковым зрением заметил, как он ухмыльнулся. Мои сцепленные замком пальцы затекли, я медленно разомкнул их, лениво сунул в карманы.

— В значительной степени именно из состава дивизии «Латгалия», — читал майор дальше, — формировались ударные группы для засылки в тыл Красной Армии с целью совершения диверсий. Впоследствии многие из этих лиц превратились в так называемых «лесных братьев», на счету которых свыше трех тысяч диверсионно-террористических актов, совершенных в период с 1944 по 1956 годы на территории Прибалтики, унесших более...

— Да знаю я! Знаю! — вскричал я громче, чем хотел. — Знаю...

Глупость ситуации заключалась еще и в том, что называть майора «дядя Леша», как я обычно обращался к отцу Женечки Воронцова, тут было явно неуместно. Обращение «товарищ майор» тоже не очень подходило.

— Знаешь? — Он спрыгнул с края стола и по-кошачьи прошмыгнул ко мне. — Знаешь?

От неожиданности я отпрянул.

— Ни хера ты не знаешь! — Майор зло зыркнул на меня, вернулся к столу. — Вот! Читай!

Он сунул мне в руку несколько листков, сколотых большой железной скрепкой. Бумага, дешевая и серая, напоминала оберточную, из военторга. Машинописный шрифт кое-где пробивал ее насквозь. Отдельные места были подчеркнуты синим карандашом. Сверху стоял чернильный штамп «секретно». Я начал читать.

Дело № 475/4, Приложение 7.

Дивизия СС «Латгалия».

Даугавпилс, Резекне, Крустпилс, декабрь 1944 — март 1945.

Из протокола допроса свидетелей, 11 февраля 1945 года.

В ночь на 6 августа 1944 года 65 Гвардейский стрелковый полк 22 Гвардейской стрелковой дивизии в районе деревни Рулани (Латвийская ССР) производил наступательную операцию. Немцы и латыши из дивизии СС «Латгалия» обошли боевые порядки гвардейцев, напали на них с тыла и отрезали небольшую группу советских солдат и офицеров от своих подразделений. При этом во время боя из груп-

пы было ранено 43 бойца и командира, которые, ввиду создавшейся тяжелой обстановки, не могли быть эвакуированы и были захвачены противником.

Захватив пленных, фашисты устроили над ними кровавую расправу.

Рядовому Караулову Н. К., младшему сержанту Корсакову Я. П. и гвардии лейтенанту Богданову Е. Р. немцы и предатели из латышских частей СС выкололи глаза и нанесли во многих местах ножевые ранения.

Гвардии лейтенантам Кагановичу и Космину они вырезали на лбу звезды, выкрутили ноги и выбили сапогами зубы.

Санинструктору Сухановой А. А. и другим трем санитаркам вырезали груди, выкрутили ноги, руки и нанесли множество ножевых ранений.

Зверски замучены рядовые Егоров Ф. Е., Сатыбатынов, Антоненко А. Н., Плотников П. и старшина Афанасьев.

Никто из раненных, захваченных фашистами, не избег пыток и мучительных издевательств.

По имеющимся данным, зверская расправа над ранеными советскими бойцами и офицерами была произведена солдатами и офицерами одного из батальонов 43 стрелкового полка 19 Латышской дивизии СС «Латгалия». Командовал операцией штурмбанфюрер Карл Кронвальдс.

Я кончил читать, но глаз не поднимал. У меня появилась уверенность, что с абсолютной точностью смогу угадать следующую фразу майора. И он действительно произнес ее.

— Инга Кронвальдс. Тебе знакомо это имя?

11

Домой я пошел дальней дорогой — мимо замка, через парк, по берегу пруда. Снег, тяжелый и серый, был похож на дешевую соль, ту, что по семь копеек за кирпич в обертке. Сырой снег крошился, чавкал и лез в голенища. Сапоги давно промокли.

В голове крутилась последняя фраза майора — тебе, Краевский, русских девок не хватает что ли? Самому-то не противно? Ты б еще племянницу Гимmlера закадрил!

Я не нашелся, что сказать, стоял в дверях, как дурак. Сейчас на ум приходили хлесткие ответы, я бормотал их вполголоса. Такие остроумные, такие язвительные.

А до этого майор сказал: «Из-за тебя, дурака, отца не только из авиации, из армии попрут — ты это хоть понимаешь? С волчьим билетом!»

Из грязных сугробов торчали мертвые кусты и мелкий мусор — бутылки, обертки, комки сырых газет. Лед на пруду потемнел и местами подтаял. В бездонно-черных полыньях скользили унылые утки. Вода казалась тягучей и напоминала деготь.

Подходя к дому, я увидел, что дверь в гараж была распахнута настежь. По обеим сторонам высились снежные горы. Из одной торчал рыжий черенок лопаты. На выскобленной до желтых досок площадке стоял отцовский мотоцикл. Вокруг толпились алюминиевые канистры, банки и масленки, все больше выкрашенные защитной краской. На некоторых по трафарету были набиты надписи «Огнеопасно!» и «Не курить!».

Сам отец, в темно-синем комбинезоне, в таких работают авиамеханики на аэродроме, возился с передним колесом мотоцикла. Стальной обод сиял, блестели стальные спицы, отец надраивал хромированную рессорную вилку, изредка макая тряпку в банку с какой-то белой гадостью, похожей на топленый жир. Изредка он поднимал красное лицо и что-то говорил Шурочке Рудневой. Она стояла тут же. Внимательно слушала, почтительно наклонившись и засунув руки в карманы белой кроличьей шубы.

Мне почти удалось прошмыгнуть незамеченным.

— Чиж! — раздалось в спину.

Я вздохнул, развернулся и пошел к гаражу.

— Ты что ж, идешь себе, даже не поздороваяешься? — Шурочка капризно сложила губы.

— Привет, — буркнул я.

— Здравствуй, — она кокетливо повела глазами. Точь-в-точь, как ее дура-мамаша, Римма Павловна из военторга. Обе были рыжеватой масти, небольшого формата — про таких говорят — до старости щенков. Маленькие собачки. — Идет, понимаешь, не замечает...

Ее белая шуба, отвратительно белая, напоминала комок ваты. Я плотоядно покосился на чумазые банки, наполненные жирным и липким, чем-то упоительно грязным, что так восхитительно могло бы выглядеть на белом. Горюче-смазочные материалы — так это называлось на армейском языке. От греха я убрал руки за спину и крепко сцепил пальцы.

— А мне дядя Сережа про мотоциклы рассказывал...

Отец поднял голову и ни с того ни с сего подмигнул мне. Должно быть, у меня появилось дурацкое выражение на лице. Я не припомню, чтобы он мне подмигивал когда-нибудь раньше.

— А что ты не спишь? — спросил я первое, что пришло на ум.

Отец вернулся только под утро, после ночных полетов летчикам полагался день отдыха.

— Какой сон? — Отец тыльной стороной руки убрал волосы со лба. — Весна грядет! Пора чертяку взнуздывать!

Он погладил хромированный бензобак мотоцикла.

Отец привез мотоцикл из Германии, он уверял, что таких после войны осталось не больше дюжины. Именно на таком в тридцать седьмом году Эрнст Хенне поставил мировой рекорд скорости — двести восемьдесят километров в час. Рекорд продержался почти пятнадцать лет. Модификация эта называлась «Мефисто». По словам отца, наши механики на аэродроме довели мотоцикл до предела технических возможностей — даже инженеры из Баварии позавидовали бы. Как-то на спор батя разогнал «Мефисто» до двухсот километров. Помимо выигрыша — ящика чешского пива — отец получил крутую взбучку от полковника Лихачева: его отстранили на неделю от полетов. Гонка происходила на взлетно-посадочной полосе аэродрома.

— Чиж, достань сигарету, — отец кивнул на летную кожанку, что висела на двери гаража. — Руки...

Он выставил грязную пятерню.

Я достал пачку. Выбил сигарету. Отец закусил золотой ободок фильтра, ожидая огня. Я поднес спичку.

— Как нога? — негромко спросил он, выпустив струю дыма из угла рта. — В порядке?

Огонь дополз до пальцев, я выругался и выбросил спичку. Подул на руку.

— Чиж! — Отец ткнул меня кулаком в плечо. — Гляди веселей! Нас ждут великие дела!

Спорить с ним я не стал. Шурочка догнала меня у подъезда.

— Эй! Погоди!

Я повернулся. Она, неуклюже расставив руки, семенила по раскатанной до зеркального лоска дорожке.

— Ну?

Тут только я заметил, что у Рудневой были подведены глаза, а веки намазаны зеленым.

- Ты что — глаза накарсила?
- Нравится? — Шурочка снова скопировала мамашину ужимку.
- Пылаю аж. От страсти.

Меня подмывало нагрубить ей — и про глаза с дурацкими стрелками, и лягушачий окрас век, и что в своей шубе ей только на утреннике выступать в роли сугроба. Или овцы. И что мамаша ее — набитая дура, и у дочери есть все шансы стать ее точной копией.

— Да уж знаем-знаем про ваши страсти, — медово протянула Шурочка. — Латышские...

Она сняла варежку и своей птичьей лапкой взяла мою руку.

— Ну и как, — подавшись ко мне, тихо спросила, — как они, эти латышки?

— Не твое дело!

— Нет! Давай уж сравним, — Шурочка приоткрыла рот и медленно стала приближаться к моим губам. — Чи-жик...

Год назад мы с Рудневой целовались. Зимой, после физкультуры. Я помог ей донести лыжи, по-соседски. Поднялся, зашел. Потом мы как-то очутились на диване. Сам не знаю, как все получилось. От нее воняло потом — девчоночьим, сладковатым, как прокисшая дыня. К тому же она обрызгалась какими-то удушливой цветочной парфюмерией, явно мамашинной. Утренний лотос, говорит, аромат эзканский, скажи? Не что-нибудь — египетские духи.

Даже не подозревал, что египтяне окажутся такими мастерами в ароматно-парфюмерном деле.

Шурочка совала мне в рот язык и пускала слюни. Она стонала и охала, точно у нее болел живот. Я понятия не имел, в чем заключаются мои обязанности, я тискал ее бока через толстый свитер, подглядывая из-под прикрытых век. По неопытности меня угораздило поставить ей синяк на горле — засос, которым она на следующий день хвасталась подругам на перемене, оттягивая воротник белой водолазки.

Стыд, который мне почти удалось стереть из памяти, воскрес живее прежнего. Запах и вкус, даже звук, сплелись в удушливый клубок, поднялись откуда-то из желудка и застряли у меня в гортани.

— Руднева, кончай! — Я отступил назад и поскользнулся.

Моя подошва попала на голый лед. Взмахнув руками и пытаясь сохранить равновесие, я инстинктивно ухватился за Шурочкино плечо. Она взвизгнула, и мы со всего маху вместе грохнулись в снежную жижу.

Пожалуй, ничего особо смешного тут не было. Пожалуй, мне не нужно было так хохотать. Особенно, когда Руднева поднялась и тут же поскользнулась снова. А после, стоя на карачках, орала на меня, выкрикивая сквозь слезы и сопли ругательства. Я хохотал, сидя в грязном снегу, хохотал задыхаясь, до горловых спазм. Наверное, это была истерика, потому что через какое-то время Шурочка перестала ругаться, она стояла на четвереньках в луже, серая вода стекала с шубы — ни дать, ни взять заблудшая овца (именно такое потешное сравнение пришло мне в голову), — она стояла и молча смотрела на меня с испугом, нет, даже с ужасом. Смотрела так, будто я сошел с ума.

12

Чердак. Я очутился там почти моментально. Или так мне, по крайней мере, показалось: вот я сижу в луже талого снега — (тире тут нужно бы заменить быстрой стрелой) вот я перед дверью на чердак.

Двери повезло — она оказалась незапертой.

Три этажа, шесть лестничных пролетов. Да, именно пролетов. Едва касался ступенек — летел. Перед своей квартирой я даже не остановился — мать, беззвучный укор вскинутой брови. Вечный упрек, неотвратимый, по бессмысленности своей похожий на первородный грех. К тому же дома мог быть и брат. Одна мысль о Валете взбесила меня. При условии, что я мог взбеситься еще больше.

Я вломился на чердак. Грохнул дверью, голуби спросонья заметались между балок, поднимая пыль и мелкий мусор. Я замер, ожидая пока птицы уgomонятся, а глаза привыкнут к темноте. Воняло мышами и плесенью. Косые лучи острыми спицами пронизывали чердак, в них плясала серебристая пыль. Простая чердачная пыль, она искрилась волшебным и таинственно. Мое сердце колотилось где-то в гортани.

Паутина прилипла к лицу, я стер липкую гадость ладонью. Вытер руку о штанину. По дощатому настилу пробрался к чердачному окну, грязному до слепоты. Нашел шпингалет, дернул раму. Свет ослепил. В лицо пахнуло холодным ветром, мокрым снегом. Сырая жесьь крыши, с хлипкой ржавой оградой, покато обрывалась в метре от меня. Дальше распахивалась даль, черно-белая и мутная, как любительская фотография.

Я ступил на крышу. Держась за верх рамы, поставил вторую ногу на скользкую жесь. Железо прогнулось, гроыхнуло, как дальний раскат грома. Я дотянулся до загородки, осторожно выпрямился.

Ограда едва доходила до колен.

Внизу подо мной лежал двор, перечеркнутый пунктиром тропинок, дальше белело пустое поле с пучками черных кустов. За полем поднималась стена, из-за нее плоско, как в бедном театре, неубедительно торчали башни замка. За замком темнел парк. Парк заслонял горизонт, голые деревья расплывались в сизом небе мокрой акварелью. Над дымчатыми макушками высоченных лип кружили чернильные кресты грачей. Я снял шапку. Похоже, зима действительно подходила к концу.

Да, но и весна еще не настала.

Я ощущал вакуум межсезонья. Пустоту, в которую я угодил прямоком из кабинета майора-особиста. Зазор между. Щель между платформой и поездом. Падение из рая в ад затормозилось в каком-то предбаннике, усталый ангел, что бережно нес меня, разжал свои пальцы — бес еще не успел вонзить когти.

Я стоял на краю крыши. С таким же успехом я мог стоять на краю света — мое одиночество было абсолютным. Я потерял Ингу. С того летнего дня на острове прошло восемь месяцев — и вот я потерял ее. До встречи с ней я не подозревал о самом существовании ярких красок и волшебных звуков. Так живет крот — без малейшего понятия о блаженной гармонии радуги или беснующемся каннибализме кровавого заката. Моя душа, хромая и подслеповатая, брела по жизни, брела-ковыляла без особой надежды на белоснежные крылья. В лучшем случае, душа-калека могла подпрыгнуть, ей была неведома сама концепция полета.

Как-то отец взял нас с братом на аэродром. Был ноябрь, над летным полем висели тучи, похожие на тяжелый сырой дым. Казалось, во всем мире царит смертельная тоска. Свинцовый купол давил на взлетную полосу, на ангары и зачехленные защитным брезентом самолеты. Пригибал к земле дохлые осины, плющил бурый пустырь, похожий на болото. Воздух можно было зажать в кулак и выдавить несколько мутных капель. Самолет оторвался от бетонки, круто пошел вверх. Стрелой пронзил хмарь. И уже через миг, через мгновенье, вокруг были лишь синь и солнце. Безумная синь и сумасшедшее солнце. Даже тучи сверху выглядели не серой мразью, а восхитительно мохнатыми снежными горами — прекрасной белизны и невозможной мягкости.

Впрочем, Валет считает, что никакого полета не было. Что я все придумал. Иногда мне самому кажется, что так оно и есть. Но ведь от этого не становится бледнее синь и не тускнеет солнце — они ведь всегда там. Они там всегда. Даже в самый черный день они там, за тучами.

Сумрачные тени уже справляли панихиду. Глухие музыканты и безногие танцоры, нищие калеки на кулаках, рвань и падаль — как же им всем не терпелось спеть за упокой! Воткнуть и запалить грошовые свечи. Оплакать меня, обслюнявить соплями и слезами мою безнадежность. Мою безысходную покорность — овечью благостную долю и кровавый топор мясника. Хруст сахарных костей и вопль красных клякс по белому кафелю.

Какая-то ленивая, но настойчивая сила подтолкнула меня к самому краю крыши. Без страха, почти безразлично, я заглянул вниз. Там никого не было. Должно быть, пройдет какое-то время, прежде чем меня кто-нибудь заметит. С вывернутой головой и сломанными в виде свастики конечностями. Немного бурой крови на снегу — так, для колорита.

И вот именно в этот момент, когда равнодушие почти оглушило мои мозг и душу, когда я уже почти что махнул на себя рукой, когда в формуле свободного падения тела после знака равенства встал выкрашенный серебрянкой крест на Ржаном кладбище, внезапный приступ злости (не злобы, а именно злости) отрезвил меня.

— А почему? — произнес я вслух и громко. — Какого черта?

Почему это я должен делать то, что хочется кому-то? Кому-то, а не мне? Да и что они мне сделают? Что они вообще могут мне сделать? Да, конечно, отец — им ничего не стоит угробить его карьеру. С таким грузом вины даже я, привыкший к этой ноше, далеко не уползу.

Ответ явился просто и убедительно — так встает солнце из-за кромки моря. Решение лежало на поверхности, скорее всего, именно поэтому я не видел его. Мы с Ингой должны уехать из Кройцбурга! И немедленно! Бежать-бежать-бежать — да! Бежать — и прямо сейчас!

Я оглядел унылую округу. Тяжкое небо, поле с часовней, полоска леса. Вся гамма серого — от нежного дымчато-грязного до кардинально темно-мышинного. Часы на башне вокзала показывали без пяти четыре. Шпиль с флюгером в виде всадника с копьём царапал подбрюшье туч. Господи, а ведь я мог запросто прожить всю жизнь, так и не узнав, что за хмарью есть синее небо.

Инга слушала не перебивая. Слушала молча. Даже когда, горячася и размахивая руками, я не мог найти верных слов. Междометия — тоже слова, тем более с парой восклицательных знаков на конце.

Мы встретились на той стороне Даугавы, на самой окраине. Город кончался тут невысокой каменной стеной. Она обрывалась, из штукатурки торчали красные кирпичи. Это напоминало рану. Дальше шли деревенские дома, окруженные аккуратными деревьями. Черные стволы кто-то старательно побелил ровно по пояс. Заборов не было. Сами дома, бедноватые, но по-немецки чинные, стояли в глубине. От улицы к ним вели мощные речным камнем тропинки. На телеграфном столбе висела железная табличка, улица по неясной причине называлась «Комсомольская».

— В Ригу? — переспросила Инга. — Почему именно в Ригу?

Из деревянной конуры с жестяной крышей вылез мохнатый пес, он проводил нас взглядом, зевнул с аппетитом и залез обратно. Снег почти сошел, лишь кое-где прятались безнадежные островки. Действительно, почему именно в Ригу? Ведь если уж бежать, так на край света. Как минимум.

— Смотри! — Инга присела. — Крокус...

Из-под мертвой травы выглядывала ярко-желтая почка. Я тоже опустился на корточки.

— Ну, давай на край света! — Я взял ее ладони в свои. — Давай в Ташкент! В Саратов! В Магадан!

— В Магадан не надо, — она подняла серьезное лицо. — И почему мы должны куда-то уезжать? Почему?

Ее ладони были озябшие и хрупкие, как пара мелких птиц. Нагнувшись, я выдохнул в них, потом еще раз. Врун из меня никудышный, мне гораздо проще не сказать, чем выдумывать какую-то белиберду. Вот Валет — тот мастер, сходу может такую историю выдать — просто Фенимор Купер.

Короче, Инга ничего не узнала ни про майора, ни про наш с ним разговор.

Мы дошли до последнего дома. Он стоял чуть особняком, будто отступив назад. Словно не желая быть частью Комсомольской улицы. И еще до того, как Инга сказала: «Я тут живу», — я уже знал, что это ее дом. Под почерневшей черепичной крышей, двухэтажный и при-

земистый, он, точно присев, прятался за старыми яблонями, корявыми и рукастыми, как ведьмины клешни. Штукатурка на стенах потрескалась, а кое-где и отвалилась, обнажив каменную кладку. Из того же дикого камня была сложена ограда. На лобастых камнях пятнами рос мох. За оградой темнел амбар, тоже пятнистый и мокрый, с прогнутой, как коровья спина, крышей. Перед распахнутыми воротами стояла телега. Лошадь, мелкая и облезлая, словно побитая молью, печально смотрела под ноги, свесив седую челку.

Дверь в дом открылась, в проеме появился старик. Сутулый и худой, в долгом пальто вроде шинели, он был высок и почти доставал головой до притолоки. Черный стручок — первое, что пришло на ум. Инга сделала шаг вперед, точно пытаясь загородить меня. Но старик нас уже увидел. Он ничего не сказал, не махнул рукой, даже не кивнул. Он натянул кепку и направился к телеге. На нем были солдатские сапоги, какого-то невероятного размера, похожие на свинцовые ботинки водолаза. Из голенища торчал кнут. Дед забрался на козлы, несильно хлестнул лошадь по серому крупу. Лошадь тронулась, тряся челкой, зашагала к дороге.

— Ты молчи! — Инга ткнула меня локтем. — Совсем!

Я не видел ее лица, но заметил, как она нервно сжимает и разжимает кулаки, точно у нее затекли пальцы. Повозка, грохоча по бульжникам, выкатила на асфальт. Старик на козлах был похож на птицу — носатый, кадыкастый, с седой головой, — он напоминал старого грифа. Зловещего стервятника, что караулит умирающего в пустыне путника. Впрочем, тут моя фантазия, скорее всего, излишне разыгралась.

— Лабден, вектес, — Инга произнесла каким-то высоким чужим голосом.

— Уз рездэшанос, — почти не взглянув, ответил старик.

Он стегнул лошадь и уставился вперед. По-латышски я не говорю, но знаю две дюжины слов.

— Дед твой? — шепотом спросил.

Она кивнула, провожая взглядом повозку.

— Суров...

Инга не ответила. Дверь снова открылась, на пороге появилась женщина. Не вышла, выглянула. Ее шея была обмотана длинным желтым шарфом, ярко лимонным, как тот давешний бутон крокуса. Пронзительный цвет — как вскрик. Заметив нас, женщина помахала рукой и что-то крикнула по-латышски. И широко улыбнулась. Инга

махнула в ответ, молча. Я сразу понял, что это мать. Дело не в похожести лица или фигуры, речь идет о каком-то более глубинном сходстве — с той же безошибочностью в Валете всегда угадывали сына своего отца. Я же в семье, как подкидыш, — на отца не похож вовсе, о моем сходстве с матерью говорят скорее из вежливости.

Мы подошли. Вот, значит, как ты, дорогая моя Инга, будешь выглядеть лет через двадцать. Будто специально, чтобы окончательно убедить меня в этой догадке, мать повторила жест дочери — чуть склонив голову, заправила прядь за ухо. Инга тоже делала это мизинцем, плавное движение кисти, похожее на элемент индийского танца.

Я поздоровался, женщина тоже ответила по-латышски.

— Свейки-свейки, — на щеках матери от улыбки заиграли детские ямочки. А вот Инга никогда так простодушно и открыто не улыбалась.

Ее звали Марута. Почти так же, как мою мать, — совпадение это показалось мне чуть ли не знаком. Мы вошли в прихожую, темную и теплую. Боясь наследить, я стянул сапоги и задвинул их в угол. Никто не возражал, никто не предложил тапки.

После, спрятав ноги в штопаных шерстяных носках под стул, я сидел в гостиной. Марута улыбалась ямочками, Инга сидела, строго сложив ладони на коленях. На меня напал говорун: когда нервничаю, я начинаю без удержу болтать — шутить, рассказывать какие-то бесконечные истории, переходящие одна в другую без особой логической связи. Знаю, со стороны это выглядит нелепо, даже жалко — слышал и от Валета, и от отца. Но ничего с собой поделывать не могу. Не смог и сейчас.

Я как раз перешел к истории про зоопарк. Дело было в Москве, мы навещали деда с бабкой, мне только исполнилось пять лет. На площадке молодняка мы с Валетом кормили булкой страусенка, потом катались в тележке, запряженной коренастым пони явно не подросткового возраста. Верблюд метко плюнул в какую-то толстую тетку. Слон, похожий на серую гору, неопрятно поросшую редким волосом, безнадежно грустил на каменной арене, окруженной частоколом из острых гвоздей. Служители в синих халатах кормили льва, просовывая сквозь толстые прутья клетки чьи-то окровавленные ребра, нанизанные на вилы. Лев ел без аппетита, а потом и вовсе ушел.

А у нас аппетит был отменный — после сарделек, горячих и сочных, с горчицей и французской булкой, мы пили газированную воду с двойным сиропом — малиновым, а после отец купил мне и брату по

эскимо. В наш военторг мороженое привозили в бидонах по четвергам, называлось оно странно — пломбир, точно к производству сомнительного лакомства какое-то отношение имели зубные врачи. Слово «лакомство», впрочем, тут скорее условно — мороженое, с привкусом жестяного бидона, состояло из рыхлой смеси замерзшего молока, воды и сахара. Не знаю, может, там что-то еще было, в этом пломбирове — не знаю, не похоже. Вдобавок, продавали пломбир в вафельных стаканчиках, напоминавших по вкусу мокрый картон.

Тут все побежали к пруду. Поспешили и мы. На том берегу между плакучих ив, старых и уставших, высилась фальшивая скала из крашеного бетона. У подножия стояли деревянные будки, на мостках, ведущих к воде, дремали белые лебеди и пара диких уток. Нам с братом удалось, оставив родителей, протиснуться к самой оgrade. Невысокая загородка едва доставала мне до пояса. Пруд оказался пуст. Никого, кроме неинтересных птиц, там не было. Я, встав на нижнюю перекладину огады, всматривался в зеленую воду — тщетно. Там отражались облака и перевернутые вверх тормашками ивы. Две плакучих ивы, их листья серебрились, точно узкие полоски фольги. Мое эскимо подтаяло и, соскользнув с палки, шлепнулось по ту сторону загородки. Мороженое нужно было спасти, я перегнулся через огаду и вытянул руку. В этот момент кто-то пихнул меня в зад. Я перелетел через огаду и кубарем скатился в пруд.

Мелькнуло синее, после зеленое — брызги и солнечные зайчики. Раздался смех, громче всех хохотал Валет. У берега было мелко — по колено, я встал, но поскользнулся на глине и снова шлепнулся в воду. Уверен, с берега это выглядело очень забавно.

Вдруг, как по команде, толпа охнула. Я оглянулся — совсем рядом, всего метрах в десяти от берега, из мутной воды вынырнуло чудище. Огромное, оно двинулось ко мне. Я застыл. Жуткая голова, в жабьих бородавках, была больше буфета. Зверь разинул пасть — я запросто мог туда войти не нагибаясь. Клыки, два белых бивня, потолще моей руки — это было последнее, что я запомнил.

Родители по сей день уверены, что спас меня брат. Что именно он вытащил меня из пруда. Правда, об этом я не стал рассказывать Инге и Маруте.

— Представляете, заголовок в газетах, — смеялся я. — Гиппопотам в Москве съел мальчика!

— Бегемот, — без улыбки сказала Инга.

Ее мать принесла чай и розетки с клубничным вареньем, принесла на подносе. У нас тоже был поднос, только не мельхиоровый, а жостовский, с мрачными цветами на траурном фоне. Какие-то хищные хризантемы, что ли. Поднос стоял для красоты на пианино. На пианино, к слову, у нас тоже никто не играл. На верхней крышке, покрытой кружевной салфеткой, в строгом почти армейском порядке расположились фарфоровые фигурки, привезенные из Германии, — трофейные пастушки и пастушки, окруженные улыбающимися овцами. Коллекцию дополняли веселые трубочисты в высоких цилиндрах, развратная торговка фруктами — круглая грудь была румяней яблок в фарфоровой корзинке, — мальчик с терьером и маркиза, кормящая павлина. У всех наших знакомых, кто служил в Германии, были водки таких же фарфоровых людишек.

Латышский дом удивил аскетизмом. Не бедностью, а какой-то, чуть ли не показной, простотой. У них даже не было люстры. На белом проводе болтался плафон молочного цвета, казенный, как в какой-нибудь больнице. Мебель — стол, стулья, буфет и шкаф — напоминала монастырскую обстановку. Ни затейливой резьбы, никаких завитушек — простое дерево. Из таких же сосновых досок, светлых, некрашенных, был и пол. Перед входной дверью валялся деревенский половичок с простецким латышским узором. Пустые стены, без ковров и картин, казались голыми, как в тюрьме.

— Хлеб утренний, — Марута двинула ко мне плетеную корзинку с ржаным ломтями. — Там, это... как это?

Она что-то сказала Инге по-латышски.

— С тмином, — перевела та.

— Вкусно! — спешно отозвался я. — Очень вкусно!

Я не лукавил. Хлеб, еще теплый и пахучий, я намазывал маслом. Прежде чем откусить, вдыхал аромат поджаристой корки. Горькая корка хрустела, деревенское масло таяло. Их клубничное варенье можно было выставлять на ВДНХ — ягоды одна к одной, они светились изнутри, как рубиновые лампочки, — вкуснее варенья я в жизни не пробовал. Чай — впрочем, чай был обычным. Болтая, я опустил в чашку один за другим кусков пять сахара. Или шесть.

После в прихожей, в темноте, я натягивал сырые и тяжелые сапоги. Возился, придумывая, что сказать. Я должен что-то сказать, но что — правду? Мать ушла на кухню, зазвенела там тарелками, пустила воду. Инга стояла рядом, молчала.

— Нет, — сказала она вдруг.

— Что? — Я выпрямился. — Что «нет»?

Прекрасно понимал, о чем идет речь, просто оттягивал время.

— Что — нет? Почему? — Я схватил Ингу за руки. — Почему?

— Не кричи.

— Я не кричу!

— Все. Иди.

— Да не кричу я! — заорал я. — Не кричу!! Не понимаю, как ты...

Как ты? Вот так — да? Иди — да?! И все!

— Не кричи.

Она выпрямилась и стала строгой и совсем чужой. Я из всех сил саданул сапогом в дверь. Дверь с треском распахнулась настежь. На улице уже сгущались лиловые сумерки.

— У меня никого нет! Кроме тебя...

Инга равнодушно разглядывала мое лицо.

— Никого! Кроме тебя нет никого — ну, как же ты не понимаешь этого, это так просто — никого на свете! А ты — иди! Куда иди? — к ним? К ним?!

Я в негодовании замотал головой.

— Они же не дадут, они будут... препоны и рогатки!.. Палки в колеса! Бежать отсюда сломя голову, нестись отсюда — да-да, на край света, к черту на рога, на куличики, в Америку, на Аляску, на Северный полюс, на Землю Франца-Иосифа!

— Какого Иосифа? — Она невозмутимо закрыла дверь.

— Да какая разница? Франца! Франца!! Майор этот проклятый, Женечкин папаша Воронцов, он же не даст, и мой отец, и Валет! Нам их не победить — орда, армада, македонская фаланга, их только обманом, хитростью, уловкой — как же ты... Неужто не понимаешь?! Кости, как сучья под каблуком, по костям, по костям — и дальше-дальше не оглядываясь! По головам, по душам! Я с ними всю жизнь, знаю их, как не знать, они ведь всегда правы, а я всегда виноват — всегда! Всегда виноват!

Я запнулся и замолчал, в коридоре стояла ее мать. Инга отвернулась, она смотрела в сторону, в угол. Точно нас застучали за чем-то неприличным. Мое лицо горело, до меня дошло, что я плакал — слезы текли сами собой. Сорвав с крючка шапку, я снова пнул входную дверь.

Там уже вовсю синел вечер. Я быстро пошел, не оглядываясь, зло воткнув кулаки в карманы. Спина превратилась в огромное ухо — не

уйди! подожди! — ну, где же твой этот крик? Дверь громко хлопнула, я прибавил шаг, почти бегом выскочил на проклятую Комсомольскую улицу.

Всё! Значит — всё! Сырая латышская окраина, слепые фонари, слепые окна — проклятый Кройцбург! Проклятая Латгалия!

